

Санд Ж.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
ДАНИЕЛЛА

Собрание сочинений

Жорж Санд

Даниелла

«Алгоритм»

1857

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Даниелла / Ж. Санд — «Алгоритм», 1857 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-03094-9

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. В данном томе публикуется роман «Даниелла», повествующий о том, как любовь, борьба за нее и свое человеческое достоинство преображает героя, делает его жизнь насыщенной интересными событиями. Это произведение принадлежит к числу типичных женских романов второй половины XIX века, где незамысловатый сюжет разворачивается на фоне великолепных пейзажей Центральной Италии. Любители данного жанра получают истинное наслаждение от чтения этого романа.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03094-9

© Санд Ж., 1857

© Алгоритм, 1857

Содержание

Дневник Жана Вальрега	15
Глава I	15
Глава II	20
Глава III	24
Глава IV	29
Глава V	33
Глава VI	37
Глава VII	46
Глава VIII	53
Глава VIII	57
Глава IX	62
Глава X	67
Глава XI	73
Конец ознакомительного фрагмента.	78
Комментарии	

Жорж Санд Даниелла

[1]

Мы предлагаем читателю историю, в которой он найдет и повесть, и записки путешественника: роман в путешествии, или путешествие в романе. Для нас это – быль; мы читаем ее в рукописи одного из друзей наших, описавших в ней полугодовой эпизод своей жизни, время волнений и скорби, в которое резко отличились и деятельность его душевных сил, и вся индивидуальность его характера.

До того времени Жан Вальрег (псевдоним, избранный им самим) не был известен другим, да и сам себя не знал. Он вел самую спокойную и самую рассудительную жизнь, какую только можно вести в наше время. Неожиданные, весьма романические обстоятельства внезапно пробудили в нем страсть и такую силу воли, к которой друзья не считали его способным. Этот непредвиденный переворот в образе мыслей и действий составляет главный интерес его рассказа, написанного в виде дневника. Путевые впечатления автора не представляют ничего нового; неподдельная искренность и некоторая независимость мысли – вот все их достоинство. Но мы не должны позволять себе предварительные рассуждения об этом труде; зачем лишать его свежести первого впечатления? Мы ограничимся несколькими подробностями о самом авторе, каким мы его знали, прежде чем он вполне обнаружил себя в своем рассказе.

Ж. В. (или, пожалуй, Жан Вальрег, как он принял этот псевдоним, в котором сохранились начальные буквы его настоящего имени) сын одного из моих старинных приятелей, умершего лет двенадцать назад в глуши нашей провинции. Отец Вальрега, по профессии адвокат, был честный и почтенный человек, с основательным образованием и разборчивой совестью, но, как большая часть жителей Беррийского департамента, не отличался предприимчивостью и оставил детям своим только двадцать тысяч франков.

В провинции с таким капиталом можно жить сложа руки; везде этой суммы достаточно, чтобы получить необходимое воспитание или начать небольшую торговлю. Итак, друзьям господина Вальрега нечего было заботиться об участи детей его, которые, впрочем, не остались без покровителей. Мать их умерла еще в молодости; но у них были дяди и тетки – люди честные, на попечение и заботливость которых можно было положиться.

Что касается меня, то я давно уже потерял из вида бедных сирот, когда однажды мне доложили о посещении господина Жана Вальрега.

Я увидел молодого человека лет двадцати; наружность его не представляла с первого взгляда ничего замечательного. Он казался застенчивым, но более осторожным, чем неловким. Я старался ободрить его, и мне удалось это, когда я перестал рассматривать его и ограничился расспросами.

– Я помню, что видел вас часто, когда вы были еще ребенком, – сказал я ему, – помните ли вы меня?

– Если б я вас не помнил, – отвечал он, – я не решился бы прийти к вам.

– Благодарю вас, я искренне любил и душевно уважал вашего батюшку.

– «Вашего»! – прервал он с удивлением, которое тотчас же расположило меня к нему. – Когда я был ребенком, вы говорили мне «ты», а я и до сих пор еще ребенок.

– Пусть будет так. Ты рано лишился отца; кто воспитал тебя?

– Меня никто не воспитывал. Две тетки отбивали друг у друга мою сестру... каждая хотела приютить ее.

– Она замужем?

– Нет! Она умерла. Я одинок на свете с двенадцатилетнего возраста. Отрочество свое провел я в доме приходского священника; но разве такая жизнь не то же одиночество?

– В доме священника? Да, теперь я припоминаю: у твоего отца был брат сельский священник; я видел его раза два, он показался мне очень хорошим человеком. Что же, разве он не радел о тебе с нежной заботливостью родственника?

– Да, в физическом отношении; в нравственном, как умел, подавая собою пример; но умственного образования я вовсе не получил от него. Озабоченный обязанностями своего звания, самым положительным взглядом на вещи, даже на религию и на благотворительность, как того можно было ожидать от человека, покинувшего соху, чтобы поступить в семинарию, он советовал мне трудиться, не указывая труда, и я прожил с ним десять лет, образуя свой ум только по книгам, какие попадались под руку.

– Имел ли ты, по крайней мере, хорошие книги?

– Отец мой завещал дяде свою библиотеку для передачи мне, когда я буду совершеннолетним. Я нашел там хорошие сочинения, и хотя многие из них не отличались ортодоксальностью, но добрый священник никогда не запрещал мне читать их, потому что почитал их моей неотъемлемой собственностью.

– Почему он не отдал тебя в училище?

– Отец мой намерен был сам заняться моим образованием; я получил от него первоначальные знания, и мне очень не хотелось поступать в училище; а по смерти отца дядя мой не счел нужным преодолевать мое отвращение к школе. Он говорил, когда принял меня к себе, что, оставив меня дома, сбережет деньги, которые пошли бы на плату за ученье, и что когда я вступлю в совершенные лета, то буду ему благодарен за это. К тому же, прибавлял он, и отец твой намеревался дать тебе домашнее воспитание, а я обязан считаться с волею покойного брата; латынь мне самому не чужда, и я сумею научить ей ребенка, сколько следует ему знать ее. Добрый дядя, в самом деле, имел это намерение, но ему всегда бывало недосуг; а когда он возвращался домой, утомленный после работы, признаюсь, я и сам не хотел еще утомлять его уроком. После ужина он дремал в своих креслах, а я, по другую сторону камина, читал про себя Платона^[2], Лейбница^[3], Руссо^[4], иногда Вальтера Скотта^[5], Шекспира или Байрона^[6] и Гёте. Он никогда не спрашивал, что я читаю. Видя, что я спокоен, серьезен, прилежен, по видимому, счастлив и не имею порочных склонностей, он вообразил, что этим отсутствием пороков и своенравия я обязан ему и что для того, чтобы угодить Богу и людям, достаточно не быть злым, докучным и вредным.

– Так ты полагаешь, что в тебе не развилось ни одной замечательной способности только по недостатку просвещенного руководителя или должной заботливости?

– Я в этом уверен, – отвечал молодой человек со странным спокойствием. – Но я не могу жаловаться на моего дядю, не становясь при этом неблагодарным человеком. Он сделал для меня все, что он был намерен сделать, все, что, по его мнению, было можно сделать лучшего. Старая его служанка как родная мать пеклась о моем здоровье, о моей опрятности, о моем довольстве. И она и дядя предупреждали все мои надобности; я всегда бывал окружен такой тишиной, таким порядком, такой добротой, что, право, ему нечего было обо мне беспокоиться, когда он выходил из дому по своим обязанностям. Каждый день, помня, что его попечением вверен тройственный залог – моя жизнь, моя душа и мои деньги, – он задавал три вопроса: не болен ли я, не ленюсь ли, не нужно ли мне денег? И так как я обыкновенно отвечал на все три отрицательно, он засыпал спокойно.

– Так ты ни на кого не ропщешь? Но сейчас в словах твоих была заметна как бы жалоба на самого себя, которую ты, казалось, не хотел высказать.

– Я не могу сказать, чтоб я был доволен или недоволен тем, что я теперь. Мне не дано никакого направления, и я ничем не заслуживаю внимания; вам осмелился я говорить о себе только потому, что хочу объяснить повод моего посещения.

– Я очень рад твоему посещению; я люблю в тебе сына моего приятеля и лично к тебе чувствую искреннее расположение, хотя еще не вполне разгадал твой характер и твой образ мыслей.

– Нечего разгадывать, – сказал молодой человек скорее с веселой, чем с грустной улыбкой. – Я существо самое ничтожное, лишенное всякого значения. С некоторого времени я начал даже тяготиться моим благополучием, убеждаясь, что не приобрел на него никакого права. Вот почему, как только я достиг совершеннолетия, я попросил у дяди позволения съездить в Париж; я рассказал ему о моих планах и получил его согласие.

– Какие же у тебя планы? Нельзя ли помочь тебе в их осуществлении?

– Не знаю. Вряд ли можно помочь тем, кто ни на что не годится; может быть, и я принадлежу к числу таких. Вы, пожалуй, отправите меня назад сажать капусту, благо, у меня, к несчастью, довольно капусты, чтобы жить ею.

– Отчего же к несчастью?

– Оттого, что я разбогател после смерти сестры. У меня теперь двадцать тысяч франков капитала.

Сказав это просто и смиренно, Вальрег отвернулся; мне казалось, что он скрывал слезы, вызванные воспоминанием о бедной сестре.

– Ты очень любил ее? – спросил я.

– Больше всего на свете, – отвечал он. – Я был ее покровителем; я воображал, что буду ей отцом, потому что я четырьмя годами старше ее. Она была мила, понятлива и горячо любила меня. Она жила в трех лье^[7] от нас, и каждое воскресенье меня отпускали к ней. Однажды, подходя к дому, я увидел у дверей гробовую крышку... Бедная сестра умерла, прежде чем я узнал, что она нездорова. В нашей глуши, где нет ни дорог, ни потребности сообщений, три лье – большое расстояние. Смерть сестры имела решительное влияние на мою жизнь и на мой характер, уже потрясенный кончиной батюшки. Я сделался мрачен, а близ меня не было никого, кто умел бы внимательной, осмысленной нежностью утешить и ободрить меня. Дядя говорил, что смешно плакать, потому что Жюльета в раю, и ей скорее можно завидовать, чем сожалеть о ней. Я не сомневался в этом, но моя уверенность не научила меня жить без привязанности, без стремления, без цели. Я долго оставался мрачным и унылым, да и теперь я почти всегда грустен и мне ни за что не хочется приняться.

– Но как развилась в тебе эта склонность к бездействию? Вследствие ли твоих дум о тщете жизни или вследствие физического изнеможения? Ты бледен и лицом стар не по летам. Здоров ли ты?

– Я никогда не был болен, и во мне есть охота к физической деятельности. Я неутомимый ходок; любил бы, может быть, и путешествия, но, на беду, сам не знаю, что я люблю, не знаю самого себя, а изучать себя мне лень.

– Но ты говорил мне о каких-то проектах. Ты покинул провинцию и приехал в Париж, вероятно, не без предположений, не без цели жить с пользой?

– Жить с пользой! – сказал молодой человек после минутного молчания. – Да, это, конечно, моя заветная мысль... Но вы должны уверить меня, что человек не имеет права жить только для себя. Я пришел к вам затем, чтобы вы в этом уверили меня, и когда вы растолкуете мне это, когда убедите меня так, чтобы я сам это почувствовал, я посмотрю, к чему я способен, если я в самом деле способен к чему-нибудь.

– В этом никогда не следует сомневаться. Если в тебе есть сознание своего долга, ты должен сказать себе, что долг свой не способен исполнить только те, кто не хочет исполнить его.

Мы разговаривали так с полчаса. Я нашел много доброй податливости в его уме и сердце. Всматриваясь в него, я заметил в его чертах красоту, нежную и ненавязчивую. Ростом он был невысок; волосы его были до того черны, что придавали оттенок желтизны его лицу; прическа

чересчур небрежная; над верхней губой пробивались уже черные, густые усики. С первого взгляда в нем поражала какая-то угрюмость, невнимательность к себе, болезненность; но иногда кроткая улыбка озаряла это желчное лицо, и пробуждавшееся чувство придавало небольшим и несколько впалым глазам его необыкновенный блеск; эта улыбка и этот взор не говорили о бесполезной и неудачной юности. В простоте его речи отзывалась кроткая откровенность и как бы навык к высшей, не деревенской жизни. Он, быть может, ничего еще не знал и ничему не был чужд и показался мне ко всему способным и очень понятливым.

– Вы правы, – сказал он, расставаясь со мной. – Настоящее самоубийство простительнее, чем самоубийство души по беспечности и трусости. Во мне нет большого желания жить, но я не чувствую болезненного отвращения к жизни и, не имея желания расстаться с нею, обязан употребить ее на пользу по мере сил моих. Скептицизм века заразил меня еще в глуши нашего селения. Я подумал, что между стремлением к призрачной суете жизни и презрением ко всякой деятельности нет, может быть, середины для людей нашего времени. Вы говорите, что я ошибаюсь; посмотрю, подумаю, и когда, руководимый этой надеждой, приведу в порядок свои мысли, приду опять посетить вас.

Прошло, однако же, шесть месяцев, а он ни на что еще не решился и ни разу в это время не заговаривал со мною о себе. Он часто бывал у нас и стал в нашем доме своим человеком. Он любил нас, и мы его любили, открыв в нем много прекрасных свойств: прямоту души, скромность, сознание своего достоинства, тонкую разборчивость чувства и мысли. Эти достоинства были, не скажу, выше его возраста, потому что в этом возрасте, при нормальных условиях жизни, расцветает все лучшее в душе нашей, но выше того, что можно было ожидать от ребенка, так рано оставленного на произвол собственных влечений.

Особенно удивляла меня в Жане Вальреге его рассудительная и искренняя скромность. Ранняя молодость почти всегда самонадеянна или по безотчетному, инстинктивному чувству, или по выводам мысли. Иногда эгоистические стремления, иногда бескорыстные движения души отнимают у нее ясное сознание собственных сил. В юном друге моем я заметил недоверчивость к самому себе, источник которой таился не в апатии темперамента, как я сначала полагал, но в чистосердечии здравого смысла и в тонкой разборчивости суждения.

Не могу, однако, сказать, чтобы этот милый молодой человек вполне отвечал желанию моему дать ему хорошее направление; он оставался задумчивым и нерешительным. Это придавало много прелести его отношениям с другими: он никому не становился на дороге; с веселыми был, по-видимому, весел, со степенными степенен; но я ясно видел, что втайне он с грустью и разочарованием смотрел на людей и вещи, и я находил, что он еще слишком молод и не должен предаваться такому разочарованию, прежде чем опыт даст ему на то право. Я сожалел, что он не влюблен, не честолюбив, не энтузиаст. Мне казалось, что в нем слишком много рассудительности и слишком мало сердечных движений, и мне хотелось посоветовать ему лучше сделать какую-нибудь безрассудность, чем оставаться в таком отчуждении от жизни.

Наконец он решился снова поговорить со мной о своей будущности, и так как он обычно не скоро высказывал, что было у него на душе, то мне пришлось в этом объяснении заново с ним знакомиться, хотя я и часто видел его после нашего первого разговора.

В эти несколько месяцев произошли в его наружности замечательные перемены, которые, казалось, обнаруживали более важные изменения в его внутреннем мире. Он был одет и причесан, как все молодые люди его возраста, и, к слову сказать, это никак не испортило его наружности и без того привлекательной. Он приобрел общественный навык и развязность. В разговоре своем и в обращении он обнаруживал замечательную способность сглаживать угловатость своей личности при встречах с внешними предметами, и я ожидал найти в нем более привязанности к свету, но, к удивлению, увидел, что он еще более отдалился от него.

– Нет, – сказал он мне, – я не могу опьянеть от того, что опьяняет теперешнюю молодежь, и если мне не удастся отыскать чего-нибудь, что пробудило бы меня, вдохнуло бы в меня

страсть, я проживу свой век, не зная молодости. Не обвиняйте, однако, меня в склонности к тунеядству; поставьте себя на мое место, и вы будете ко мне снисходительнее. Вы принадлежите к поколению, которое возникло в эпоху великодушных идей. Когда вы были в моем возрасте, вы жили дыханием лучшей будущности, грезой о скором и быстром прогрессе. Ход событий отражал, гнал ваши идеи; он обманул, но не разрушил ваших надежд. Вы и друзья ваши привыкли верить и ожидать; вы навсегда сохраните молодость, потому что вы еще молоды в пятьдесят лет. Можно сказать, что складка сложилась, и ваш опыт в прошедшем даст вам право уповать на будущее.

С нами, двадцатилетними детьми, иначе: наши душевные движения шли не тем путем, как ваши. Наш ум смело развернул крылья, но вскоре все изменилось: крылья опустились, солнце померкло. Мне было тринадцать лет, когда мне сказали: «Прошедшее более не существует, началась новая эра...»

– И это говорил тебе твой дядя?

– Понятно, что не он. Дядя мой не боялся за жизнь свою (он был отважен и решителен), но он боялся за свое крохотное достояние, за свой оклад, за свою ниву, за свою рухлядь, за свою клячу. Он ужасался всякой перемены и, хотя не имел ни врагов, ни преследователей, трепетал при мысли о возобновлении тысяча семьсот девяносто третьего года^[8].

Что касается меня, я читал журналы, прокламации, прислушивался к толкам. Я вдыхал в себя надежду всеми чувствами, всем существом моим, и два-три месяца в тысяча восемьсот сорок восьмом году^[9], я был самым восторженным ребенком: вот вся моя молодость...

Настали тяжелые дни июня и внесли ужас и ожесточение даже в самую глушь нашей провинции. У нас видели в каждом прохожем разбойника и поджигателя; бедный дядя, прежде человеколюбивый и милосердный, стал опасаться нищих и запер перед ними дверь свою. Душа моя замерла, а в сокрушенном сердце не осталось и следов прежнего обаяния. Все сосредоточилось для меня в одном понятии: «Люди еще не созрели!» Тогда я старался ужиться с другой, мрачной и тяжелой мыслью. «Истина новых начал еще не проявилась, – думал я. – Общество пытается еще силой утвердить эту истину, и каждая новая попытка доказывает, что материальная сила – элемент непрочный; он перелетает из стана в стан, как зерно летит по воле ветра. Истинная сила еще не народилась... и, может быть, на моем веку не будет еще истинной силы».

Вот каковы были томительные грезы моей юности, посреди других скорбей, о которых я уже говорил вам.

Теперь я прихожу в общество, быстро изменившееся под влиянием непредвиденных событий, понуждаемое к поступательному движению, с одной стороны, отражаемое назад с другой – в борьбе со странным обаянием, с загадочной мыслью, какой всегда останется мысль индивидуальная, примененная к массам. Я не придаю политического значения нашему разговору; заключения, выведенные из случайности событий, не имеют веса. Я стараюсь только отыскать в будущем какое-нибудь нравственное положение, к которому я мог бы пристроиться; но, осмотревшись вокруг себя, я не нахожу своего места в этих новых интересах, овладевших вниманием и волей современных людей.

– Послушай, – сказал я ему, – я хорошо понял, что довело тебя до настоящего, грустного настроения. Эту грусть я не вменяю тебе в вину, напротив, она дает мне выгодное о тебе понятие. Но время выбраться из нее, не скажу усилием воли (когда нет цели, нет и воли), но более внимательным исследованием современного общества, которое ты недостаточно знаешь и потому не имеешь права за него отчаиваться.

– Уверю вас, что я совсем не отчаиваюсь за него, – возразил он, – но я знаю его достаточно для убеждения, что в этом обществе можно жить только или в опьянении, или в разочаровании. Эта мирная среда, рассудительная, терпеливая; эта смиренная, добрая жизнь прежнего времени, которую воскрешает в моем воображении воспоминание о моем собственном детстве, проведенном в затишье простой мещанской семьи; честная и почетная посредствен-

ность, в которой можно было держаться без больших усилий и без большой борьбы, – всего этого уж больше нет. Идеи зашли так далеко, что жизнь у домашнего очага или под сенью сельской колокольни не может быть сносна. Лет десять назад – я хорошо помню это – существовал еще дух товарищества в чувствах; была еще общность воли; были желания и сетования, о которых могли быть общие толки. Но нет уже ничего подобного с тех пор, как каждая партия разделилась на бесчисленные оттенки. Горячая страсть к прениям, которая появилась в первые дни февральской республики, не успела уяснить задачи; эти задачи оставили за собой непроницаемый мрак для настоящего поколения. Несколько избранников и теперь еще разрабатывают великие вопросы нравственной и умственной жизни, но толпа скоро утомляется работой мысли и скоро с отвращением отстает от нее. Теперь нельзя заговорить ни о чем, что выходит за рубеж вещественной пользы, не столько из опасения возбудить подозрение властей, сколько из боязни завязать праздные и желчные прения или вызвать скуку и разлад, которые выводят за собой эти задачи. Зараза проникла в среду самых согласных семейств, и там боятся затронуть важные вопросы из опасения оскорбить друг друга. Мы существуем только внешней жизнью, и если бы кто почувствовал потребность высказаться, ввериться другому, то встретил бы во всех слоях общества атмосферу, тяжелую, как свинец, и холодную, как лед, в которой невозможно дышать.

– Это правда. Но человечество не умирает, и когда жизнь его, по-видимому, угасает с одной стороны, она пробуждается – с другой. Это общество, оглохшее для прений о его нравственных интересах, деятельно трудится в других сферах. В применении науки к промышленности оно ищет господства над землей, и теперь оно на пути к этому завоеванию.

– На это-то именно я и жалуюсь! Общество не заботится теперь о лучшем мире, о жизни чувства. В нем железные и медные внутренности, как в машине. Великое слово: «Не одним хлебом живет человек» потеряло смысл свой и для общества, и для юного поколения, которое оно воспитывает в материализме интересов и в сердечном неверии. Я от рождения склонен к созерцательной жизни, и я чувствую себя чужим, потерянном посреди этой работы, в которой нет для меня никакой доли... Я не чувствую всех тех потребностей благосостояния, для которых, не опускаясь, работает столько миллионов рук. Я ощущаю голод и жажду не более, как человек обыкновенный, и не вижу необходимости увеличивать мое состояние, чтобы наслаждаться роскошью; у меня нет к ней ни малейшей склонности. Я ищу нравственного довольства, я жажду умственных наслаждений: немного любви да чести, а о них-то род человеческий и не думает. Неужели это знание, эти изобретения, эта деятельность, все это богатство и сила настоящего дадут когда-нибудь людям счастье и могущество? Я сомневаюсь в этом. Я не признаю истинной образованности в усовершенствовании машин и в открытии новых способов производства. Если б когда-нибудь пришлось мне увидеть дворцы на месте теперешних хижин, я пожалел бы о роде человеческом, если бы оказалось, что под золочеными крышами живут каменные сердца.

– Ты прав с одной стороны и неправ с другой. Если ты принимаешь дворцы, наполненные пороками и низостью, за цель человеческого труда, я с тобою согласен, но если ты будешь смотреть на общественное довольство как на единственный путь умственного и нравственного усовершенствования, ты не станешь проклинать нашего недужного стремления к материальному прогрессу, который способствует освобождению человечества от прежнего рабского подчинения невежеству и нищете. Человек рассудительный должен прийти к такому заключению: идеи не могут обойтись без фактов, как факты без идей. Хорошо, если бы цель и средства раскрывались вместе, но мы еще не достигли этого, и ты ропщешь только на то, что не родился целым столетием позже. Признаюсь, не раз я и сам досадовал на это, но мы не можем докучать другим такими жалобами, не становясь смешными в их глазах.

– Вы правильно говорите, – промолвил Жан Вальрег, задумавшись на минуту. – Мои желания ненасытнее тех обыкновенных желаний, на которые я нападаю. Но поспешим к заклю-

чению. Я не имею склонности к промышленной деятельности, не знаю толку в делах. Точные науки не по мне; классического образования я не получил. Я мечтатель, следовательно, я художник или поэт. Поговорим теперь о моем призвании; я, как видите, решился.

Не знаю, есть ли во мне способности к какому-нибудь из изящных искусств, но во мне есть любовь к одному из них – к живописи. Я после расскажу вам, если хотите, как пришла мне охота к живописи. Но это ничего не докажет; быть может, во мне нет ни малейшего дарования. Во всяком случае, я незнаком даже и с азбукой этого искусства. Попытаюсь поучиться тому, чему можно научиться. Пойду к какому-нибудь живописцу и начну с рабской покорности искусству, а когда набью руку, дам полную свободу своим влечениям. Тогда вы посмотрите и будете моим судьей. Если во мне есть дарование, я постараюсь развить его; если нет, я приму долю ничтожества со смирением, быть может, даже с радостью.

– Ага, – воскликнул я, – лень или апатия, наконец, проглянула!

– Вы так думаете?

– Имею полное право... Чего радоваться ничтожеству?

– Талант налагает на нас тяжкие обязанности, а мне кажется, что смиренная доля скорее придется по мне. Это вовсе не лень; и если бы я мог, не оскорбляя своей чести, посвятить свои услуги какому-нибудь гениальному человеку, я был бы рад наслаждаться его славой, не неся бремени этой славы. Иметь настолько души, чтобы упиваться величием других, чувствовать в себе жизнь этого величия, не вынуждаясь природой проявлять его с блеском, – вот участь, которой я завидую, вот мечта, которую я лелею, мечта о той тихой посредственности положения, которая допускает и возвышенность чувства, и возвышенность мысли, и раскрытие души в тесном приятном кругу, и веру во все бессмертное и в кого-нибудь из смертных. Неужели вы поставите мне в вину, что я желаю учиться для развития своих понятий и ничего более не желаю?

– С богом, попробуйся! Я не думаю, чтоб эта скромность помешала тебе усовершенствовать твое дарование, если ты его имеешь. Подумай, однако, что тебе надобно, по крайней мере, настолько научиться живописи, чтобы она дала тебе средства к жизни, потому что с тысячью франков дохода...

– Тысяча двести! Десятилетние доходы, приобщенные к капиталу, увеличили его, и я получаю теперь сто франков в месяц. Но я сам вижу, с тех пор как живу в Париже, что в наше время невозможно с этими средствами вести жизнь независимую и без занятий. Нужно вдвое больше, и то при большой расчетливости. Дело теперь в том, чтоб приобрести эти средства не для того, чтоб жить сложа руки, я не хочу этого, но чтоб покрыть расходы на мое ученье, а оно, я знаю, потребует многого.

– Что же ты сделаешь, чтоб иметь сто франков в месяц сверх твоего дохода, не отказываясь от живописи, которая в продолжение трех-четырех лет не принесет тебе ничего и дорого будет обходиться?

– Не знаю, подумаю! Если мне нужны будут ваши советы или ваше покровительство, я снова обращусь к вам.

Спустя два месяца Жан Вальрег играл на скрипке в оркестре второстепенного оперного театра. Он был порядочный музыкант и играл довольно хорошо, так что мог исполнить как следует свою партию. Мы ничего не знали об этом таланте; он ни разу не похвалился им перед нами.

– Я решился на это, ни у кого не спросясь, – сказал он мне, – пожалуй, стали бы отсоветовать; даже вы сами...

– Я сказал бы тебе правду, что, идя утром на репетицию и вечером на представление, ты не будешь иметь времени заниматься живописью. Но, может быть, ты уже отказался от живописи и предпочитаешь теперь музыку?

– Нет, – отвечал он, – я все еще предпочитаю живопись.

– Но где же ты научился музыке?

– Кое-как, самоучкой. Нужно только терпение, а у меня его много.

– Почему же тебе не приняться бы серьезно за музыку, с таким прекрасным началом?

– Музыка ставит артиста слишком напоказ перед публикой. Забившись в мой оркестр, я не привлекаю ничьего внимания; а если бы я был замечательным музыкантом, я был бы вынужден не скрываться, стоять на виду; это стесняло бы меня. Мне нужно положение, в котором я оставался бы господином своей воли. Если я буду писать плохие картины, меня не освищут; если я буду даровитым живописцем, мне не станут аплодировать, когда я буду проходить по улице. Музыкант всегда стоит или на пьедестале, или у позорного столба. Такое неестественное положение надо принимать как приговор рока или как долг, возлагаемый Провидением, а то, пожалуй, с ума можно сойти.

– Так как же? Достанет ли у тебя времени, чтобы учиться живописи?

– У меня немного досуга, а все-таки он есть. Мне придется учиться долее, чем тогда, когда бы все мое время было свободно, но все-таки теперь я могу учиться, между тем как без помощи моей скрипки не было бы у меня на то средств. Правда, я мог распорядиться моим капиталом и через три-четыре года не иметь ни состояния, ни таланта; но если б я вздумал просить моего дядю передать в мое распоряжение эти деньги, он проклял бы меня и почел бы меня погибшим человеком. Итак, волей или неволей, мне пришлось быть расчетливым и довольствоваться одними доходами. До сих пор все, кажется, идет неплохо. Мне не скучны мои занятия. Я пилю каждый вечер на скрипке, как хорошо смазанная машина, думая между тем о другом. У меня интрижка со статисткой, глупой, как индейка, и вовсе без сердца. С такими женщинами нетрудно сойтись; я не боюсь, что моя красавица покинет меня или изменит; завтра же можно найти другую, ничем не хуже этой. Я занят, и, если моя жизнь несколько зависима, я утешаю себя мыслью, что работаю для независимости. Все это нелегко, это правда, и, может быть, было бы лучше, если б я засел в деревне и женился на какой-нибудь доброй хозяйке, которая потихоньку смирила бы меня, заставляя носить штопаное платье и нянчить ребятишек с пухлыми щечками, но жребий брошен; я задумал жить своим умом и не имею права роптать.

Я уехал из Парижа и, возвратясь, застал Жана Вальрега почти в том же положении. Ему надоел оркестр, но он нашел другую работу: по вечерам он занят был перепиской дома, а кроме того, давал уроки музыки в каком-то пансионе раза два в неделю. Зарабатывая по-прежнему франков сто в месяц, он продолжал учиться живописи. Всегда одетый опрятно и со вкусом, он сохранил прекрасные манеры и тот вид достоинства, который бог знает где приобрел он, может быть, в самом себе. Но он казался бледнее и грустнее прежнего.

– Ты несколько раз писал мне, – сказал я ему, – и спрашивал, как я поживаю; благодарю тебя; но ты ни слова не писал мне о себе, и я хочу попенять тебе за это. Ты говоришь мне, что тебе удалось удержаться и при своей работе, и при своих идеях, и при своем образе жизни. Тебе уже больше двадцати лет, и при твоей устойчивости – ты доказал мне ее – вероятно, ты уже искусен в живописи. Я зайду к тебе посмотреть, как идет дело.

– Нет, нет, – возразил он, – еще не время. У меня еще нет таланта; в моем даровании нет еще никакой индивидуальности. Я хотел вести дело рационально и сначала старался только приобрести умение. Теперь уже есть у меня все, что нужно, и я испытаю собственные силы. Но для этого нужна другая жизнь, не такая, какую веду я и которая, признаюсь вам теперь, так нестерпима, так несродна моей натуре, так убийственна для моего здоровья, что, уверенный в вашей дружбе ко мне, я не хотел описывать вам душевных страданий моих в продолжение двух последних лет. Я еду, проживу месяц у дяди и потом отправлюсь в Италию.

– Так и ты не ускользнул от пристрастия к Италии? И ты воображаешь, что только Италия создает артистов?

– Нет, я никогда так не думал. Тот нигде не будет артистом, кому не суждено быть артистом; но мне столько говорили о ясном, голубом небе Рима, что я еду туда отогреться и просохнуть от парижской сырости, по милости которой я чуть не превратился в гриб. Кроме того, Рим – это древний мир, который не худо узнать; это жизнь человечества в прошедшем, это древняя книга, которую надо прочесть, чтобы уразуметь историю искусства, а вы знаете, что я во всем последователен. Может быть, после этого я возвращусь в деревню и женюсь, как я говорил вам, на дородной птичнице, доступной каждому владельцу моего разбора. Я должен удержаться в моей теперешней среде, то есть стараться всеми силами выдвинуться из толпы, но всегда быть готовым принять, не унывая, самую смиренную долю. Мне нетрудно держаться в равновесии; меня влекут в разные стороны две совершенно противоположные силы: стремление к идеальному и жажда спокойствия. Погляжу, что пересилит, и во всяком случае уведомлю вас.

– Погоди немножко, – сказал я, когда он брал шляпу, чтобы раскланяться со мною. – Как ты думаешь, если тебе не дастся живопись, не попытаться ли другой дороги? Например, вот музыка...

– О нет, не говорите о музыке. Чтобы любить ее, надобно будет надолго позабыть ее; я лучше хочу умереть, чем жить ею; я вам сказал причину.

– А тебе непременно следует быть артистом; ты человек неоднозначный и не получил классического образования. Читая твои письма, я подумал, уж не взяться ли тебе за перо? В тебе заметно дарование.

– Быть писателем, мне? Это невозможно! Я только вскользь взглянул на свет и на жизнь, я только что начинаю понимать их. Писать еще не значит быть писателем. Писатель должен мыслить, а я умею только мечтать и действовать; я вовсе не мыслитель, я вывожу заключения слишком поспешно и обо всем сужу относительно к себе. Литература есть прямое или относительное учение об идеале, а вы знаете, я еще не нашел своего.

– Пусть так. Обещаешь ли ты мне исполнить одну важную просьбу?

– Вы можете требовать всего, что только от меня зависит.

– Пиши для меня, для меня одного, – если ты этого потребуешь, я обещаю сохранить тайну, – пиши подробный отчет о твоём путешествии, о твоих впечатлениях, какие бы они ни были, и даже о твоих приключениях, если с тобою случится что-либо замечательное, за целый год, не пропуская более недели.

– Я догадываюсь, для чего вам это нужно. Вы хотите принудить меня изучать жизнь мою в подробностях и давать себе в ней отчет.

– Именно так. Ты принимаешь иногда, хотя и редко, решительные намерения и строго исполняешь их; но под влиянием этих намерений ты забываешь жить в промежутки редких проявлений твоей воли; сосредоточиваясь весь в ожидании, ты не пользуешься мелкими наслаждениями жизни. Отдавая себе отчет в твоих действительных потребностях, в твоих законных стремлениях, ты в конечном счете придешь к более ясным формулам жизни.

– Так вы почитаете меня безумцем?

– Тот всегда безумец, кто не бывает им никогда.

– Я исполню ваше приказание; может быть, это послужит мне на пользу. Но если я, беспрестанно лелея собственные мысли, начну безумствовать более, чем вы желаете?

– Я указываю тебе возбуждающее и вместе с тем успокоительное средство – размышление!

Я вызвался помочь ему в путешествии, как помогают родители сыну; он мог не колеблясь принять от меня эту услугу, но отказался, обнял меня и отправился.

Через неделю я получил от него длинное письмо, которое было как бы предисловием к его дневнику. Я переписываю почти слово в слово это послание, равно как и его путевые записки, которые я упробил его писать для меня.

Дневник Жана Вальрега

Глава I

Община Мер, 10 февраля 185...

Вот я и на месте. Я не посылаю вам еще обещанной реляции моих приключений; здесь, я уверен, со мной не случится ничего замечательного. Посылаю вам перечень некоторых обстоятельств из моей жизни, которых я не умел объяснить вам, когда вы расспрашивали о них меня. Вы желали знать, во-первых, почему, не испытав никогда ни излишней строгости, ни дурного обращения, я имел характер вовсе необщительный, не терпел говорить с другими о себе и неохотно занимался собой. Тогда я и сам не понимал, почему это так было; теперь, кажется, я добрался до причины.

Дядя мой, аббат Вальрег, вовсе не остроумен и вовсе не зол; при всем том он большой насмешник. У него прекрасный нрав, несколько крутой, но веселый. Он до того положителен, что все, что свыше его ограниченных понятий, вызывает его сомнение и насмешки. Этот склад ума образовался в нем не только внутренним процессом, но и от привычки жить с Мариной, его старой и верной домоправительницей, превосходной женщиной в поступках, но самой спесивой и недоброжелательной на словах. Способная к безграничной преданности людям, наименее в целом приходе достойным участия, она беспощадно злословила о людях самых достойных, как только усаживалась вечером за свою прялку или за свое вязанье, чтоб поболтать с господином аббатом, который, то смеясь, то дремля, снисходительно слушал ее сплетни и сам вдоволь потешался насчет ближнего.

Эти пересуды, впрочем, никому не вредили, потому что добрые люди, с истинным умением жить в свете, из избы сора не выносили, и их злословие никогда не переходило за порог их жилища. Но я, я слишком долгое время был немым слушателем таких разговоров, и они не могли не отразиться на мне: я привык, сам того не замечая, к бессознательной недоверчивости в моих сношениях с другими.

Однако же я не могу упрекнуть себя, чтобы я разделял это безграничное недоброжелательство. Напротив того, кажется, я усиленно защищался от этого чувства; но, быть может, я невольно убедил себя, что и я заслуживал свою долю недоброжелательства от других и что, если аббат не оказывал мне его, то потому только, что я был его племянником и воспитанником. Что касается насмешек, то, находясь у него, так сказать, под рукой, я был постоянно осыпая ими. Дядя смеялся надо мной с добрым, родственным намерением, я в том уверен, но насмешка все-таки насмешка. Средство это прекрасно, без всякого сомнения, чтобы истребить зародыш глупой самонадеянности тщеславия; но при частом употреблении это средство гибельное: оно должно было, наконец, угасить во мне всякое уважение к самому себе.

Чтобы дать вам понятие о насмешливости моего дяди, я расскажу вам нашу встречу, когда я приехал к нему третьего дня вечером.

Так как в нашу деревню не ходит ни один дилижанс, ни другие почтовые колымаги, то я пришел домой с последней станции пешком, в прекрасную погоду и по прескверной дороге.

– Ба, ба, ба! Здорово! – вскричал мой дядя, только что меня увидев. – Добро пожаловать, Марина, ступай-ка сюда, вот тебе и он, мой повеса-племянник. Давай-ка ему поужинать; после нацелуешься; он, верно, проголодался, ему теперь похлебка дороже твоих поцелуев. Садись-ка, погрейся тут у камина. Э, брат, да на тебе лица нет; что же это? Или свой хлеб-то тяжело там приходит? Очень уж испостился. Ты, кажется, любезный, в Италию собираешься, Рафаэля с трона спихнуть, да других пачкунов, которых имени я не припомню! С богом! Мне лестно подумать, что в нашей семье будет знаменитый артист; но вряд от этого вырастет твое состоя-

ние; недаром есть пословица: «Гол, как маляр». А ты все еще петушишься? Ну, что делать, был бы только честным человеком! Да смотри не промотайся, пока я жив, и не наделай долгов; на мою деньги плоха надежда; я тебе не царскую долю оставлю, да и знай, что я пожить собираюсь как можно долее, а судя по твоей физиономии, я, брат, чуть ли не здоровее тебя. Берегись, чтобы мне не пришлось по тебе поминки справлять!

После многих таких прибауток аббат Вальрег начал меня расспрашивать, но, не слушая и не понимая моих ответов, продолжал надо мною подшучивать. «Италия! – говорил он. – Не думаешь ли ты, что там деревья растут вверх корнем, а люди вниз головой ходят? Не глупо ли ехать за тридевять земель, чтобы изучать природу, как будто люди не везде одинаково глупы, а вещи мира сего не всюду равно безобразны! Когда я был молод, старшие, видя, что я крепок и здоров, вздумали уговаривать меня сделаться миссионером. «Нет, господа, – отвечал я им, – незачем ездить в Китай, чтобы видеть болванов, или на острова Тихого океана, чтобы насмотреться на диких!» После ужина, за которым я должен был есть вдоволь каждого блюда, иначе Марина обижалась, дядя пожелал видеть образец моих успехов в живописи во время моей парижской жизни. «Ты думаешь, что труды твои передо мной будут то же, что бисер перед свиньями? – сказал он шутя. – Ты ошибаешься. Чтобы судить о том, что делано для глаз, нужны только глаза. Ну-ка, развязывай! Мне хочется полюбоваться произведениями будущего Рафаэля».

Надо было раскрыть чемодан и перебрать в нем все вещи, чтобы доказать дяде, что у меня было очень мало рисовальных припасов и не было ни одного рисунка.

Он очень оскорбился.

– Это нелюбезно с твоей стороны, – сказал он. – Ты мог бы догадаться, что меня интересуют твои успехи; я начинаю думать, что ты просто бил баклуши в Париже и ничего путного не делал. Если бы не так, ты позаботился бы привезти мне хотя бы какой образок, раскрашенный тобою. У тебя было дарование, я не спорю, но я уверен, что там ты только шатался из угла в угол.

Роясь в моих вещах, Марина открыла академическую фигуру, в которую я завернул карандаши. Рисунок этот был изорван и запачкан, и так как у фигуры недоставало головы и оконечностей ног, то Марина сначала не совсем и поняла, что у ней было перед глазами; но вдруг разразилась криком ужаса и негодования и убежала опрометью из комнаты.

– Фи, – сказал дядя, смотря на обнаженную фигуру, что так перепугала Марину, – так этим-то вы занимаетесь? Рисуете нагие человеческие фигуры. И отвратительно, и ни к чему не служит. К тому же это, кажется, кое-как наляпано. Признаться, мне больше нравились курьезные человечки, которых ты, бывало, писал. И работа была почище, и, по крайней мере, благопристойно: деревенское платье бывало отмалевано точь-в-точь, и хоть кому покажи, не стыдно глядеть. Но поговорим о деле, – продолжал он, бросая в камин мой академический этюд.

– Как вел ты себя в этом новом Вавилоне? Что, долгов наделал?

– Нет, дядюшка.

– Не запирайся, говори лучше правду.

– Божусь вам, что нет; я не хотел ни пугать вас, ни огорчить. На будущее время, если вы позволите убедить себя в некоторых несомненных истинах, может быть...

– Ты меня обманываешь; я уверен, что ты кругом должен!

– Честью уверяю вас, что нет...

– Но ты имеешь намерение...

– Я никакого намерения не имею, но я должен сказать вам, что мне сильно наскучила эта система бережливости, доходящая до скряжничества, и если б, по несчастью, я к ней пристрастился, она довела бы меня до самого бессмысленного эгоизма. Я понимаю готовность на лишения в пользу ближнего, но лишать себя возможных удобств в жизни для того, чтобы приобрести эти самые удобства в будущем, и смешно и безрассудно. До сих пор моя строгая

бережливость была делом чести. Вы взяли с меня клятву, что я не буду тратить свыше моих доходов, и, как дитя, я дал эту клятву, не зная, что ста франками в месяц нельзя жить в Париже, а если и можно, так только с условием никогда не трогаться участью человека, еще беднее нас, и подчинить себя самой скупой предусмотрительности. Я не мог вести такую жизнь; я взялся за работу, чтобы удвоить свои средства, но работу, ненавистную для меня, притупляющую мысль и чувство, и при всем этом я еще должен был лишать себя тысячи нравственных и умственных наслаждений, которые могли развить ум и образовать сердце.

Наконец, несмотря ни на что, я сумел научиться тому, чему хотел научиться, не уклоняясь ни от одного из приличий, обязательных по моему образу жизни, и не пропуская случая бывать в хорошем обществе, где только я мог показаться, не бросаясь другим в глаза. Я еду теперь в страну, где, как я слышал, и бедный артист может учиться, не терпя большой нужды; но прежде, чем расстанусь с вами, добрый и дорогой мой дядюшка, я должен сказать вам, что беру назад мое слово и более не обязуюсь безусловно сберегать мое наследство, если потребности моей артистической жизни и долг чести вынудят меня прибегнуть к моему капиталу.

После этих слов завязалось между мною и дядей жаркое объяснение. Он был взбешен, видя во мне такие неожиданные для него идеи, хотя прежде никогда не требовал у меня отчета в идеях. Высказав мне все, что внушали ему его убеждения (странная смесь эгоизма и христианского милосердия, правила помнить о других и не забывать себя, не позволяя себе никаких увлечений ни в пользу других, ни в свою собственную), он встал с места и, будучи неспособен взволноваться чем-либо до такой степени, чтобы пропустить хотя один час сна, он успокоился, промолвя: «На нынешний день довольно хлопотать; завтра подумаем об этом».

Часы на сельской колокольне пробили девять, и дядюшка задремал, как, бывало, и в прежнее время, с той регулярностью пищеварительных отправлений, которая свойственна только сильным темпераментам. Марина вошла в комнату, собрала со стола, громко разговаривая со мною, стуча без всякой предосторожности своими деревянными башмаками по звонкому полу зала. Когда все было прибрано, она громко сказала: «Господин аббат, пора спать; спокойной вам ночи; ступайте молиться, это ваше время, да и ложитесь с богом».

Потом Марина отвела меня в комнату, где я провел половину своей жизни, осмотрела, все ли нужно есть у меня, еще раз меня поцеловала и, нещадно топая по лестнице, отправилась в верхний этаж. Через четверть часа все спало в доме священника, в том числе и я, утомленный несносной дорогой и несносными рассуждениями аббата Вальрега.

На другой день, то есть вчера, дядя мой пытался за ужином возобновить наш разговор, но мне удалось отвлечь его до трех четвертей девятого. Я надеюсь, таким образом, не оставляя ему более четверти часа в вечер на споры, без крутого перелома довести его до того, что он свыкнется с принятым мною решением.

Вы, может быть, подумаете, заодно с почтенным дядюшкой, что у меня вертится в голове какой-нибудь сарданапальский замысел^[10] насчет моего капитала в двадцать тысяч франков? Ничуть не бывало. Все мои намерения ограничиваются желанием идти вперед и не быть рабом положения.

13 февраля

Мое предположение оправдывается. Дядя привыкает к моей независимой воле и начинает успокаиваться, видя мою рассудительность во всех других отношениях. Так как я уже принялся рассказывать вам о моем прошлом, я расскажу вам, как родилась во мне охота к живописи; я не смел сообщить вам подробности этого случая, когда вы меня об этом спрашивали.

Молодость моя протекла здесь в уединении, на лоне природы. Я занимался только чтением и мечтами. Вдруг во мне пробудилось неясное, но сладкое чувство «созерцания». Эта способность была во мне устойчивее и совершалась с меньшим трудом, чем способность «мыс-

лить». Я ощутил это наслаждение в первый раз в один ясный день, при закате солнца, окидывая взором пространный луг, окаймленный высокими деревьями. Лучи яркого света и прозрачные тени придавали очаровательный эффект прекрасной местности. Мне было лет шестнадцать. Я спрашивал себя, почему эта местность, которую я не раз проходил равнодушно, не обращая на нее внимания, вдруг получила в глазах моих неизъяснимую прелесть.

Несколько дней я не мог дать себе в этом отчета. Занятый по утрам дома моими обязанностями, то есть сочинениями, которые задавал мне мой дядя аккуратно каждое утро и которые он аккуратно каждый вечер забывал прочитывать, я не мог видеть солнечного восхода. Я уходил часто в поле с книгой в руках, но напрасно искал там в продолжение целого дня того поразительного эффекта, который произвел на меня такое сильное впечатление, он появлялся только вечером, когда солнце опускалось к вершинам окрестных холмов и когда огромные тени, скользя по бархатной зелени, длинными полосами ложились на равнину, облитую ярким золотом света. Это время живописцы называют «моментом эффекта». Наступление этих минут заставляло биться мое сердце, как приближение любимой особы или необыкновенного события. В эти мгновения все становилось в глазах моих прекрасным, хотя я и не мог объяснить себе почему; каждая случайная неровность луга, камень, покрытый мхом, даже прозаические подробности пейзажа: белье, развешанное на веревке у дверей хижины, куры, роющиеся в навозе, шалаш из ветвей, загородка, отделяющая луг от конопляника, – все изменяло свои формы, все принимало другие оттенки, все облекалось в неизъяснимую прелесть. «Но что же во всем этом удивительного, – спрашивал я сам себя, – и почему я так поражен этим видом? Прохожие и люди, занятые полевыми работами, вовсе не обращают внимания на эту картину, и даже мой дядя, человек самый образованный из всех, кого я здесь вижу, никогда не говорил мне о красоте этой долины. Где же эта прелесть, во внешней природе или во мне самом? Есть ли это преобразование окружающих меня предметов или обаяние моей мысли?»

Несколько дней я втайне наслаждался этими минутами душевных восторгов. Дядя мой обыкновенно ужинал в это время, а он был чрезвычайно взыскателен, когда дело шло об обычном порядке его домашней жизни. Он не беспокоился, если бы я и целый день был в отлучении, но минута ожидания меня к ужину сердила его. К тому же он был так добр, что я всеми силами старался не огорчать его. Как только раздавался звон часов с далекой колокольни и стаи голубей начинали пролетать с полей в направлении к деревне, я вспоминал, что Марина накрывает в это время на стол и, отрываясь от восхищавшей меня картины, спешил домой, не вполне насладившись зрелищем. Но мечта моя не покидала очарованной местности, и когда я нарезал ветчину или жаркое тоненькими ломтиками, как это было заведено дядюшкой, перед мысленным взором моим тянулись вереницы кустов с золотыми очертаниями и другие подробности картины, облитые ярким пурпуром заката.

Наступала осень, дни становились короче; у меня оставалось более времени любоваться изумительной игрой света и тени и постепенным преобразованием предметов, уже с тем разумением прекрасного, которое развилось во мне как неизведанное еще чувство. С каждым новым впечатлением новый восторг овладевал моей душой, и, несмотря на то, что я читал много книг, наполненных поэтическими картинами, мне не приходила мысль искать слова, чтобы выразить мое видение. Слова казались мне недостаточными, смешными, картины – неясными и неточными. Напрасно вдохновенные поэты старались выразить словами красоты видимого мира. Самый смелый из современных мечтателей, Виктор Гюго, уже не удовлетворял меня.

Тогда я почувствовал, что мое внутреннее чувство никогда не проявится в слове и что я не могу быть писателем. Воображение мое было скудно или лениво, потому что лучшие писатели не дали мне даже приблизительного понятия о том, что глаза мои сами открыли. Долго, однако же, я не решался сказать себе, что я могу быть живописцем; даже и теперь я еще не знаю, было ли чувство, возбужденное во мне этими впечатлениями, сознанием моего призвания; во всяком случае, эти впечатления вызвали во мне стремление, теперь преобладающее.

Мне было около девятнадцати лет, когда в один из долгих зимних вечеров мне пришла мысль или, правильнее, я почувствовал потребность возобновить перед собою дивный ландшафт; я взял карандаш и начал рисовать. Окончив рисунок, я простодушно удивлялся моему безобразному созданию; я смотрел на него сквозь стекло воображения, которое представляло мне в ином, лучшем виде набросанный мною эскиз. На другой день я увидел свою ошибку и сжег испачканный мною лист бумаги, но принялся снова рисовать мое видение. Это продолжалось несколько месяцев. Каждый вечер я бывал восхищен моею работой, каждое утро истреблял ее, боясь привыкнуть к безобразию моей картины. А между тем долгие зимние вечера пролетали незаметно. Наконец, мне пришла мысль попытаться рисовать с натуры. Я срисовывал все что попало с удивительной искренностью; я рисовал почти все листики деревьев и в разработке подробностей запутывал идею целого, не выражая, однако же, и деталей, потому что каждая подробность есть сама относительное целое.

Однажды дядя взял меня с собой в соседний замок, где я впервые увидел картины древних и новейших художников. Я остановился пред картиной Рейсдала^[11] и долго стоял перед ней в немом созерцании. Я не вдруг понял ее. Мало-помалу мысль моя просветлела, и я уразумел, что такое искусство требует целой жизни. Отходя от картины, я решился посвятить всю мою жизнь, употребить все мои силы, чтобы научиться выражать красками на полотне мечту моей души.

Добрые люди одолжили мне несколько хороших рисунков, дядя позволил мне купить ящик акварельных красок. Тогда он не пугался моей мономании, но когда я достиг совершеннолетия и объявил ему мои намерения, он сильно встревожился. Я ожидал этого и с кротостью опровергал его возражения. Я знал, как он уважает независимость чужой воли и как не любит толковать по-пустому; я знал в нем эту беззаботность, этот оптимизм, который всегда преобладает в людях истинно кротких и искренне добрых, и не сомневался в успехе.

Вы спросите меня теперь, почему в первые дни нашего знакомства я утаил от вас такое ничтожное обстоятельство, как склонность мою к живописи. Причина так же проста, как самый факт. Вы просили бы меня показать вам мои рисунки, а они были невыносимо дурны и могли понравиться только Марине и нашему школьному учителю. Вы сказали бы мне, что я сумасшедший, а если бы не сказали, я прочел бы это убеждение в ваших глазах, а я сам не столько еще верую в мой талант, чтобы отстаивать его против критических замечаний друзей. Суд посторонних для меня не страшен; но после вашего приговора мы сомневались бы вдвоем, а мне и одному тяжело сомневаться.

В мой тогдашний возраст, при небрежном воспитании, как мое, человек не умеет защищать своих убеждений. Мы сознаем их, но у нас недостает выражений, чтобы высказать их в ясной, определенной форме, и доказательств, чтобы их отстаивать. Мы любим их, потому что, чем бы они ни были, откровением или пустой мечтой, они делали нас счастливыми. Мы скрываем их в глубине души, как тайну первой любви. Это для нас цветы, которые вянут под дыханием пренебрежения, под улыбкой насмешки.

Эта боязнь еще и теперь меня не покинула; я не из пустого тщеславия не хотел показать вам мои рисунки; я беспристрастно проверил себя и убедился, что если я не мудрец, то и не безумный, чтобы подумать, что я уже имею талант. Это искреннее сознание успокаивает меня; оно доказывает, что, сохраняя в тайне мои успехи, я люблю не себя, а искусство. Я хочу сохранить девственность моих надежд, не обнажая их ни для нападков неприятни, ни для приговора судей, ни для взора любопытных. Мне кажется, что с таким уважением к моему идеалу я не рискую впасть в заблуждение, и, когда я скажу вам: «Вот как я умею выражать мысль свою», я точно буду уверен в успехе, ответственном моим силам, не говорю «моим стремлениям»: этого, кажется, никто не может достигнуть.

Глава II

Марсель, 12 марта 185...

Я уже в дороге, добрый друг мой. Я успел уговорить и успокоить дядюшку и получил от него напутственное благословение и свободу. Вы, может быть, и верно говорили, что терпение еще не гений, но мне кажется, что терпение, по крайней мере, добродетель. Только терпением удалось мне так устроить дела, чтобы мой второй отец не сокрушался о моей будущности. Я решился не покидать его, не успокоив его вполне насчет моих намерений; я обязан был поступить так за его доброту и привязанность ко мне.

Завтра я намерен отправиться в Геную. Мне сказали, что переход через Альпы теперь затруднителен для пешехода по причине сильных ветров, свирепствующих там в это время года, и я решился отправиться в Марсель, хотя, сказать правду, и морем плыть теперь не очень удобно. Небо мрачно, а мистраль¹ дует с ужасной силой; сегодня к вечеру он несколько затих, и есть надежда, что генуэзский пароход, как говорят, добрый ходок, выйдет в море.

Я уже был в Марселе еще в малолетстве, вместе с покойным отцом. Он, как вам известно, родом из Прованса, а у нас был здесь старый родственник. Этот родственник давно уже умер, и мне здесь некого посещать. Я узнал главные части города и окрестную местность. Я вспомнил, что обедал с моим отцом в каком-то балагане на береговых скалах; это урочище называется «Резервом». Местные жители собираются туда лакомиться особого рода улитками, которые водятся исключительно у этого берега. Балаган сгорел; на его месте выстроен щеголеватый павильон, и тот, говорят, вскоре будет заменен более обширным и удобным зданием. Я прошел далее вдоль по берегу, нагибаясь, чтобы сопротивляться ветру. Я видел море во всей красе его; оно казалось мне еще прекраснее, чем прежде. В детстве оно приводило меня в ужас, теперь поражало своим величием. Безотрадно смотреть на эту беспредельную равнину воды, изрытую порывами бури. Ни один образ не выражает вернее страшного отчаяния, невыносимых мук. Но это отчаяние только вещественное. Душа человека только мыслью о кораблекрушении сочувствует этим терзаниям исполина. Напрасно он стонет, мечется, рвет себя в куски об острые скалы, обливая их бешеными слезами и обдавая их горами пены: это слепое, бесчувственное чудовище. А вон там, вдали, чернеет утлая ладья: она смело борется с бурей, потому что в существах, управляющих ею, находится истинная сила, то есть воля.

Грозна природа на этой маленькой планете, на которой мы обитаем; человек должен быть отважен. Я понял свой детский ужас перед этим шумом, этим волнением, этой беспредельностью! До тех пор я видел только, как колосья на нивах и трава на лугах колебались под набегом ветра. Отец, бывало, брал меня на руки, но и там мне было страшно. Я не боялся погибнуть в волнах, когда, дрожащий, прижимался к отцовской груди, но это было нравственное головокружение. Мне казалось, что ветер выносил дыхание из моей груди и что душа моя кружилась среди этих бездн. То же ощущение овладело мною и в этот раз, но не такое сильное, скорее приятное, чем болезненное. Мысль о разрушении выводит перед ребенком страшный призрак. Человека, привыкшего к борьбе, этот призрак скорее манит к себе, чем угрожает, и головокружение становится почти наслаждением.

Я с каким-то странным удовольствием смотрел, как стая небольших судов проходила через опасный фарватер старой гавани. Каждое из них было в большей или меньшей опасности, в зависимости от строения, искусства кормчего и силы волн. Все прошли благополучно. Маленькое судно, по-видимому, не очень крепкое, обратило на себя мое особенное внимание. Настала минута поворачивать на рейд, минута критическая. Волна, на которой судно это носилось, как морская чайка, нахлынула тогда с борта; баркас лег на бок, так что реи его касались

¹ Сильный и холодный северный или северо-западный ветер, дующий с гор в Южной Франции.

хребта волн, но вдруг он поднялся, резвый и смелый, и снасти натянулись, как тетива упругого лука. Легко и свободно перескользнул он через грозный вал и опустился в спокойные воды, гордый, как лебедь на струях родного озера. В действиях малочисленного экипажа незаметно было никакой тревоги, и я гордился этим, будто принадлежал к числу этих отважных моряков. Да, человек должен быть отважен, и немудрено, что нам так нравится проявление человеческой силы. Что значат море и его бури! Истекающая от Бога душа мира находит свое лучшее убежище в нас; мы презираем смерть. Нет, друг мой, не простое море, не простую землю надобно срисовывать, надобно изображать человека и его жизнь.

Вслед за баркасом вошло большое судно с грузом; с ним было больше хлопот. В роковые минуты, когда участь экипажа зависит от удачного маневра, на палубе раздаются голоса; это команда знания и опытности. Такой голос по праву возвышается над ревом разъяренных волн.

Эта картина развевалась передо мною под резкие звуки маленькой арфы, которые слышались неподалеку от меня. Между тем как входящие в гавань суда боролись с волнами, на открытой платформе балагана, в котором помещался кабак, танцевали принаряженные девушки и матросы. Странствующий цыган-арфист, с густыми черными кудрями на голове и с лохмотьями изорванного рубища на теле, играл на плохой арфе, в неровном демонском ритме, род тарантеллы, под которую плясали без такта и порядка пьяные посетители кабака. Контраст двух картин был поразителен, но в обеих обнаруживалась беззаботная отвага моряка.

Только что прибывшие из дальнего путешествия, чисто выбритые, принаряженные и обутые в глянцевые башмаки, матросы кружились с дамами в шелковых платьях, весело прыгавшими в семи этажах воланов, окружавших их юбки. День был холодный, небо хмурилось. Волна прибывала до самой террасы и угрожала снести в море и балаган и пирующих. Большое судно приближалось к берегу, как бы поневоле повинуюсь прихоти волн и ветра, и, казалось, угрожало сокрушиться на самой платформе, посреди веселого бала. Никто не заботился об этом, кроме меня. Арфист, я думаю, не прервал бы своих мерных звуков посреди воплей смерти, и громкий смех неистовых львиц питейного дома нераздельно слился бы с хрипением умирающих.

Я обедал один в другой, не такой шумной харчевне. К вечеру ветер спал, волнение затихло; повеяло теплом, и темная ночь быстро спустилась на море и землю. Я остался в темном уголке отдохнуть от прогулки; обо мне, казалось, забыли.

Между тем как я отдыхал, погружаясь в думы, за соседней перегородкой продолжался разговор, который я давно слышал, но не слушал. Однако вскоре следующие слова англичанина, хорошо говорившего по-французски, обратили на себя мое внимание: «Но к чему иметь свою волю?»

Эти слова так соответствовали моим тогдашним мыслям, что я невольно стал прислушиваться, и после обмена несколькими общими фразами, прерываемыми стуком ножей и вилок, услышал следующий разговор, в котором, по моему мнению, было много нравственно назидательного:

– Итак, мне было девятнадцать лет (это говорил англичанин), когда мне сказали, что я уже в таком возрасте, что могу жениться на мисс Гэрриет. Я находил, что я еще слишком молод; к тому же мне не хотелось жить в большом свете, которого я тогда не знал, да и не желал узнать. Я был младший сын в семействе, мне почти нечем было жить. Это было уже после моего с вами путешествия на Антильские острова. К морской службе я не имел особой склонности, но я любил странствовать, и мне нравилась независимость такой жизни. Мисс Гэрриет полюбился я бог знает за что! Я носил знатное имя – это так, но не имел ни таланта, ни большого ума, как вы знаете; не знал светских обычаев. Но она была очень чувствительна, восхищалась моей бедностью и, кажется, страдала мономанией. Воспоминания детства, проведенного со мною вместе, сожаление, о котором я ее вовсе не просил, эксцентрические понятия о долге чести (боже вас сохрани, любезный, от эксцентрических женщин!), тщеславное желание обогатить

бедного родственника – лукавый знает, что именно вселило в нее неотвязчивую привязанность ко мне, и бедняжка чахла от пламенного желания как можно скорее соединиться со мною неразрывными узами. Но я поклялся побывать на Цейлоне, прежде чем надену петлю на шею...

– Почему именно на Цейлоне? – спросил француз.

– Теперь не припомню, – отвечал рассказчик. – Тогда такова была моя неперемнная воля, моя идея. Воля человека должна быть священна для всех, но мисс Гэрриет была хорошенькая, даже очень хорошенькая, и, видя ее любовь ко мне, я и сам в нее влюбился. Словом, я женился на девушке с приданым в двести тысяч фунтов дохода, и с этого дня начались все мои несчастья...

– Черт возьми, милорд, – воскликнул его собеседник, ударив кулаком по столу, – у вас двести тысяч фунтов дохода?

– Нет, – отвечал англичанин с глубоким вздохом, от которого хрусталь зазвенел на столе, – теперь восемьсот тысяч: жена моя получила наследство!

– Да на что же, прости, Господи, вы жалуетесь?

– А на то, что у меня восемьсот тысяч дохода. Это богатство опутало меня новыми обязанностями и в отношении к себе самому, и в отношении к другим, новыми узами, которые не согласуются ни с моим характером, ни с моим воспитанием, ни с моими склонностями. Я люблю все делать по-своему, но я не упрям. Со времени женитьбы моей я не могу жить по своей воле, и оттого несчастлив, хотя я всеми уважаем и очень богат.

– Да как же это? Помилуйте!

– А вот увидите. На другой день после свадьбы жена преобразовала меня в светского человека. Я не был рожден для этого положения. Мне было скучно в знатном кругу; я больше любил простое общество порядочных людей. Мне хотелось поговорить о жизни моряков, о путешествиях, а я вынужден был болтать о политике, о литературе. Жена моя была синий чулок, blue stoking. Она читала Шекспира, я – Поль де Кока^[12]. Она любила рослых лошадей, я – маленьких пони. Она занималась серьезной музыкой, я предпочитал звуки охотничьего рожка. Она принимала только знать, я охотно болтал с моими приятелями. Я любил сельскую жизнь, она не находила в загородном замке достаточной роскоши и комфорта. Ей всегда было жарко, когда мне бывало холодно, и холодно, когда мне жарко. Ее всегда тянуло в Италию, когда мне хотелось в Россию, и наоборот. Так мы не сходились во всем!

– Да что ж за беда! – воскликнул француз. – В этом-то и заключается жизнь всех супругов, с малыми изменениями к лучшему или к худшему. Это скучно в бедности, когда нельзя жить врозь, на две половины, но чтобы богатый лорд...

– Не каждый богатый лорд человек без правил, – отвечал англичанин тоном, в котором выразилось превосходство его характера. – Если бы я покинул миледи, она имела бы право роптать на меня и, может быть, право изменить своим обязанностям. Я не хотел, чтобы она осталась замужней вдовой. Я хорошо видел (и скоро заметил это), что она уже не находила меня ни красавцем, ни любезным, ни интересным; она сама краснела за прежнюю безумную любовь ко мне. Этому нельзя было помочь; но я не хотел унижить ее в свете и не покинул ее; да, я не оставил ее, хотя это и для нее и для меня очень прискорбно.

Англичанин вздохнул, француз расхохотался.

– Не смейтесь, – сказал англичанин строго. – Я несчастлив, очень несчастлив. Хуже всего, что миледи, кроткая со всеми, как овечка, со мною настоящий тиран. Ей кажется, что она заплатила мне своим богатством за право угнетать меня. Бог не дал нам детей, и этим я много потерял в ее сердце. На беду, она еще ревнива.

Поймите это, если можете! Она не любит меня, а ревнует, несмотря на то, что в наши лета ревность смешна. Вообразите, что она укоряет меня в распутстве, меня, когда я истратил почти всю свою волю, чтобы воздерживать себя от всех непопулярных удовольствий. Вы видите, что я даже не пью, а когда вернусь домой, она скажет мне, что я пьян. Я сижу здесь с

добрым приятелем, беседую с ним очень рассудительно: она обвиняет меня теперь, я уверен, что я загулял с сорванцами. Да если б она и видела нас здесь за скромным обедом, она и тогда нашла бы к чему придраться. Она сказала бы, что обедать в такой ресторации на берегу моря – неприлично, shocking. Я терпеть не могу комфорта. Все, что отзывается роскошью, напоминает мне жену. Счастье еще, что она взяла с собой в Италию хорошенькую племянницу, и, опасаясь, чтобы она мне не приглянулась, предоставляет мне с некоторого времени более свободы. Я обязан этому удовольствием обедать с вами. Хотите курить? Возьмем сигары и пойдем на воздух, чтобы платье мое не пропахло дымом.

Они ушли, а я отправился домой ощупью по узким тропинкам, пробитым в скалах. Море пело свою грустную, мелодичную песню; странно, но сладко звучала она в темноте. Мне хотелось послушать эту привлекательную мелодию, но я торопился домой, чтобы писать вам, мой добрый, мой лучший друг, и вот уже давно сижу за делом.

Глава III

Среда 14-го

Вчера к вечеру опять подул мистраль, не переставал всю ночь и теперь еще продолжается. «Кастор» не решается выйти из гавани. Чтобы не скучать эти два дня, я пустился в далекие прогулки и пишу к вам карандашом, на листке, вырванном из моего альбома, в ущелье горы Св. Иосифа. Я нахожусь в нескольких часах пути от города и между тем, как там дует холодный ветер, я купаюсь здесь в теплых лучах истинно итальянского солнца. Я перешел просторную долину и достиг холмов, которые тянутся по ее пределам. Холмы эти не так высоки, чтобы защищать долину, но в горах вдруг нападаешь на самую теплую атмосферу и почти на африканскую растительность. Вы любите цветы, я перечислю для вас попавшиеся мне здесь растения, все пахучие: тимьян, розмарин, лаванда, шалфей преобладают на этих местностях. Небольшие поляны усеяны мелкими золотисто-желтыми цветками, которые пахнут скипидаром.

Какая прекрасная местность! Есть за что похвалить Прованс, с его странными, суровыми, часто грандиозными видами. Эти прихотливые формы земной поверхности доказывают, что здесь происходили значительные геологические перевороты. Во многих местах внезапные возвышенности почвы, будто вал укрепления, облегал зубчатым гребнем долины на весьма значительное протяжение. Длинные гряды известковых скал, белых, как каррарский мрамор, которому, вероятно, они сродни, кажутся рядами внезапно окристаллизованных волн, некоторые из них стоят в наклонном положении, как будто согнутые силой ветра. Далее, на просторстве нескольких миль, холмы высятся, растительность держится на их уступах в каменных рамках удивительно правильных форм. Можно бы подумать, что на каждом холме стоял когда-то замок и что эти ступени иссечены руками фей для существ, соответствовавших своими размерами громадным размерам первозданной природы. Это уступы амфитеатра какой-нибудь породы титанов. Но наука сдерживает полет мечты человека и принимает на себя обязанность объяснять все грозные явления природы: эти внезапные возвышения, эти разбеги почвы, огромные осадки ее – все эти корчи земной поверхности, которые избородили лицо земли глубокими морщинами. Наука смотрит на все это с тем же спокойствием, с каким мы глядим на неровности яблока или рассматриваем рельефную сетку на скорлупе грецкого ореха.

Я часто думал, заодно с поэтами, что наука, исследуя причины видимых явлений, убивает поэзию. Я мало знаю, но, признаюсь, часто сожалел, что и этому научился. Только вчера и сегодня я убедился в своем заблуждении. Живописцы не должны быть слишком поэтами. Наука смотрит и постигает. Поэт также должен быть видящим оком. А чтобы все видеть, нужно понимать.

Я вчера познакомился с живописцем, который едет в Рим и, вероятно, будет моим спутником. Сегодня поутру мы отправились с ним вместе на прогулку. Он вскоре остановился, чтобы срисовать понравившуюся ему местность. Я знаю, что из всего, что раскинула природа перед нашими глазами, поэт может выбирать только то, что пригодно его искусству, но, прежде чем он приступит к делу, не должен ли он объять мыслью общность, построение этого громадного целого, которое в каждой стране имеет свою наружность, свою особую душу? Может ли частица целого что-либо объяснить нам, пока целое ничего не высказало? Здесь есть не только случайности очертаний и игра света, здесь есть формы и общий колорит, который мне не худо бы изучить. Если бы я слушался только моих желаний, я остался бы здесь на некоторое время, но Италия – это мечта моя, она зовет меня, и я спешу к ней.

Как роскошна, однако, природа вокруг меня! Я припоминаю слова Мишле^[13], обращенные к отлетающей на зиму птице. «Там, за оплотом скалы, – говорит он о Провансе, – ты найдешь, я уверяю тебя, зиму желанной Азии и Африки». Это правда, местность здесь сухая и

здоровая. После парижских зимних дождей и туманов я глазам своим не верю, лежа на траве и видя облака пыли, поднимающиеся по дороге под копытами проходящих стад. Приморские ели колышутся над моей головой под набегом теплого летнего ветерка. Пространная долина, лежащая между мною и морем, походит на море цветов в бледной зелени. Это белый цвет миндаля, розовый цветок персика, бледно-розовый абрикоса и неопределенного оттенка цветков оливкового дерева, клубящийся, как облака, среди этого раннего расцвета. Марсель, как прибрежная царица, уселся над синими волнами моря. Море еще грозно. Вокруг меня тепло и тишина, но я отсюда вижу, как мистраль отплесками пены хлещет по голым ребрам приморских скал; я отсюда различаю глубокие борозды между рядами волн, более громадных, чем они кажутся вблизи, когда на расстоянии нескольких миль я охватываю глазом их очертания и не могу следить за их движением.

15 марта

Я уже на пароходе, в виду берегов Италии. На море свежо, но погода ясная. Мы идем вдоль крутых, живописных берегов. К вечеру затих ветер, и туман задымился над морем. Три морских рыболова летели за нами, при закате солнца, пытаюсь усесться на полосе густого черного дыма, который струился из высокой трубы парохода, но, огорченные неудачей, покинули нас, провожая прощальным, странно-мелодическим криком. Ниццкий маяк сквозит в тумане. Почти никого из пассажиров не укачало. Что касается меня, я никогда не буду страдать морской болезнью, я это чувствую. Пристроившись кое-как, чтобы писать к вам, я расскажу вам нынешние мои похождения.

Спутник мой, живописец, считает меня ленивым дилетантом; я очень рад, что он вздумал быть моим руководителем и покровителем; он все время не отходит от меня ни на шаг. Указывая мне на небо, на волны, на громады скал, мимо которых несется пароход, он угощает меня всеми техническими терминами ремесла, удивляясь, что я не понимаю этой болтовни живописцев, которую он величает языком искусства. Надобно вам сказать, что я, для шутки, притворился совершенно не знающим нравов, обычаев и наречия живописцев. Он готов был презирать меня за это, но кротость, с которой я выслушивал его наставления, расположила его в мою пользу. Он показал мне свои марсельские эскизы, набросанные, если хотите, искусною рукой; в них есть удачные мазки кисти, очень удачные; пейзаж прекрасный, очертания сняты верно, но характер местности не схвачен; формы те же, но в них нет жизни, нет чувства. Я пытался растолковать ему это, но, в свою очередь, говорил языком для него непонятным и, вдобавок, не таким забавным, как его техническая болтовня.

Брюмьер, впрочем, славный малый. Ему лет тридцать. Имея небольшое состояние, он решился еще раз побывать в Риме, хотя, как он сам говорит, всему уже научился; он недурен собой, а его всегдашняя веселость почти переходит в остроумие; характер у него очень приятный.

Мы болтали на палубе о нашем путешествии, о городах, в которых необходимо побывать, как вдруг какой-то господин третьего класса, то есть пассажир-пролетарий, путешествующий по самой дешевой цене, с дантовской осанкой, будто на переправе через Ахерон^[14], вмешался в наш разговор и посоветовал нам не тратить времени в Генуе, выражая к этому городу глубочайшее презрение.

Мне показалось, что я не в первый раз встречаюсь с этим человеком. «Где я вас видел?» – спросил я его. «Два дня тому назад, сиятельный господин, – отвечал он по-французски, – я играл на арфе в Марселе, на берегу моря». – «А, это вы? Где же ваша арфа?» – «Ах, добрый барин, арфы уже нет. Моя публика перепилась, перессорилась и передралась. В этой суматохе бедная арфа попала под стол, опрокинутый шестью сорванцами, которые и сами на него попадали и раздавили мою арфу. Когда эти господа перебрались со стола под стол, им уже невозможно было растолковать, что они лишили меня насущного хлеба. Люди они не злые; этого

никак нельзя сказать; натошак матрос – добрый парень; но как хлебнет чересчур ромцу, так уж с ним не связывайся. Ром, мосье, ром всему причиной... Что прикажете делать? Чего доброго, пожалуй, и самого на смерть бы уходили; такой уж народ. Делать нечего, бросил там арфу, да и давай бог ноги; теперь стану чем другим хлеб добывать. Признаться, мне и музыка и Франция давно уж надоели. Я римлянин, сиятельный господин, я римлянин, – и с этими словами господин римлянин вытянулся во всю длину своего детски-малого роста, при котором щедрая природа одарила его целым лесом волос на голове и окладистой бородой. – Я римлянин, – продолжал он торжественно, – и меня невольно влечет на родные семь холмов».

– И хорошо делаешь, что спешишь туда, – отвечал ему Брюмьер. – Ты, должно быть, очень нужен на семи холмах! Но чем ты занимался прежде и какому занятию обречешь теперь драгоценные дни свои?

– Я там ничего не делал, – отвечал римлянин, – и как только сколочу копейку, чтобы хватило на целый год, опять целый год проживу без работы.

– Так у тебя ничего про запас не осталось от твоей кочевой жизни?

– Ничего. Мне даже нечем заплатить за проезд; но экипаж «Кастора» меня знает, и у меня не спросят денег до самой Чивита-Веккии.

– Ну а тогда?..

– Тогда Бог даст, – отвечал он с равнодушием философа. – Может быть, вы, сиятельные господа, не откажете мне в небольшом пособии?

– Э, брат, да ты собираешь милостыню? – воскликнул Брюмьер. – Настоящий римлянин, и сомневаться нечего. На, вот тебе мое подавание; ступай теперь к другим.

– Торопиться нечего, время не ушло, – отвечал цыган, протягивая ко мне руку, между тем как другой прятал в карман полфранка, данные ему Брюмьером.

– Неужели это римский тип? – спросил я моего товарища, когда арфист отошел от нас.

– Это тип-выродок. А все же и выродок этот прекрасен, вам не кажется?

Мне вовсе этого не казалось. Огромная борода увеличивала объем головы и так слишком большой для такого малого и щедедушного тела; нос арлекина, длинный разрез глаз, окаймленных сверху густыми нависшими бровями, широкий, глупый рот, который с каждым движением комически подергивает подбородок, – все это казалось мне карикатурой на древнюю медаль. Приятель Брюмьер, кажется, привык к этому безобразию, и я заметил, что фигуры, смешные для меня, имели прелесть в его глазах, лишь бы в них проявлялась, как он выражается, порода.

Мы, однако же, сошлись с ним в мнениях относительно красоты одной из пассажирок. Это какая-то таинственная особа; она, кажется, свела с ума моего приятеля. Ему вообразилось, что это греческая принцесса. Сначала мы сочли ее за щеголеватую горничную знатной барыни, потому что она приходила к завтраку за кушаньем и унесла несколько блюд с собой; но после она, сидя на палубе, отдавала по-итальянски приказания другой женщине, по-видимому, настоящей горничной. Потом к ней подошла пожилая женщина, вероятно, та самая, что была больна, тетка или мать, и они разговаривали по-английски так бойко, как будто век свой на другом языке не говорили.

Брюмьер все утверждает, что очаровавшая его женщина – гречанка. В самом деле, у нее совершенно восточный тип: ресницы неслыханно длинны и тонки; продолговатые, с кротким взором глаза вовсе не похожи своей формой на глаза наших красавиц; лоб высокий, но не широкий; талия удивительная по своему изяществу и грации. Мне никогда не случалось видеть такой совершенной красавицы.

Я продолжаю письмо мое после двухчасовой остановки. Брюмьер – престранное создание. Он в самом деле влюблен, и то, что я рассказывал вам о нем в шутку, выходит совсем не шутка. Он разговаривал со своей принцессой, как он продолжает называть ее, и утверждает, что она прероманическая, престранная и превосходительная особа. Она пришла на палубу одна и снисходительно слушала рассказы моего приятеля о звездах (которых, между нами будь

сказано, тогда вовсе не было видно), о фосфорическом сиянии волн, которое, в самом деле, в эту минуту великолепно, о диковинках старого Рима, который она знает лучше самого Брюмьера, а это, по словам его, тоже немалая диковинка, словом, она едет прямо в Рим и нигде не остановится на пути своем, вследствие чего мой вертопрах, предполагавший пробыть некоторое время в Генуе, уже не хочет нигде останавливаться. Только приятель мой дал волю своему любопытству и начал расспрашивать, как принцесса озябла и ушла к своей старой родственнице, или, почем знать, барыне, при которой она, быть может, служит компаньонкой или чтицей.

Внезапно разбуженный энтузиазм молодого художника навел нас на разговор о любви; у него престранные теории. Я высказал некоторое сомнение насчет знатности его красавицы; он почти рассердился, уверяя, что он знает свет, а в особенности женщин, и что эта непременно принадлежит к высшей аристократии.

– Положим, – отвечал я, – вам это лучше знать, чем мне; но если вы, чего нельзя ожидать, ошибаетесь, не все ли вам равно, бедна или богата, маркиза или мещанка ваша героиня? Ведь не в богатство ее и не в знатность влюблены вы, как я полагаю, а в нее самое. Живописец не интересуется рамкой при оценке картины.

– Так, так, – отвечал он, – но если рамка хороша, она может придать цены картине. Конечно, можно любить женщину без состояния и без предков; это случилось со мною, случилось, вероятно, и с вами, да и с кем этого не случилось? Но если прекрасная, любезная, умная женщина, кроме этих достоинств, знатна и богата, она много выигрывает этим, потому что тогда она живет в своей настоящей среде, в атмосфере поэзии, созданной для красоты.

– Это так, для глаз она много выиграет. Хорошо смотреть, как шитая золотом и перлами мантия Дездемоны стелется по шелковым коврам ее роскошных палат; прекрасна Клеопатра на пурпуровых подушках ее царской галеры; если бы мне удалось видеть это, я, может быть, целую жизнь не забыл бы такого зрелища; но чтобы пожелать быть мужем Дездемоны или любовником Клеопатры, не лишнее быть победоносным Отелло или великолепным Антониєм. Будучи безвестным, непрославленным, небогатым, я держался бы в стороне от этих богинь, которым нужны герои, или от этих прелестниц, которым надобны миллионы. Пусть ваша героиня будет богиней или прелестницей, она все не по вас. Посмотрите на себя и загляните в ваши карманы, прежде чем лезть на пьедестал, на котором вы все же будете стоять ниже ее.

– Эге, любезный, – возразил он, – вы вздумали играть с любовью. По-вашему, если сказать себе: ты не должен думать об этой женщине, так и дело с концом? Чего бы лучше! Или вы совсем разочарованы, или еще не знаете, что такое безумная страсть. К тому же, – продолжал он, видя, что я не отвечаю, – разве знатность и богатство – препятствие? Верьте мне, ни разум, ни гордость, ни даже целомудрие женщины не могут успешно бороться с твердой волей мужчины. Положим, мы точно не красавцы, одеты по-дорожному, не слишком изящно, с пустыми карманами, с мещанскими именами и с артистической славой, нигде еще не гремевшей. Чтобы стать в уровень и любезничать с Клеопатрами и Дездемонами, нам, стало быть, по-вашему, нужны другое платье, другие средства обольщения, другая наружность, потому что вас поражает именно наше видимое неравенство. Но не слишком ли вы скромны или не слишком ли горды, быть может? Я не так думаю; я смеюсь над всем этим. Я ценю себя никак не меньше того, чего стою, и если мне удастся понравиться какой-нибудь знатной красавице, богатой и умной, я буду убежден, что я достоин этой любви и что она не могла сделать лучшего выбора, потому что я, не имея ничего, умел овладеть той, у которой было все. Я часто об этом думал; мне уже не раз наворачивались славные случаи, и вы увидите, что когда-нибудь я поймаю отличный. Это случается только с людьми, которые верят в звезду свою, и никогда не случится с человеком, который в себе сомневается!

Мы простились после этого разговора. Завернувшись в свой потертый плащ, молодой маэстро прилег на скамью и заснул сном праведника, доверившись судьбе своей и счастливый;

может быть, он и прав! Меня более всего поражает в этой самоуверенности, ничем не оправдываемой, что это, может быть, грубое, но всегда верное средство осуществить мечты свои. Но откуда берутся у этих людей их золотые грезы?

Глава IV

Пройдя Геную, 16 марта, 11 часов вечера

Я опять на пароходе, но сегодня я сходил на берег и прекрасно провел нынешний день. Я проснулся в шесть часов утра, после краткого отдыха; и то не знаю, как я сумел заснуть в эту ночь! Вы не можете вообразить, что за наслаждение для людей, не привычных к морю, видеть, слышать, чувствовать движение волн даже в самую темную ночь. Я говорю «видеть», потому что ночью всплески волн светящейся узорчатой сетью окружают пароход. Право, не нагладишься на эти светлые, изменчивые арабески; никогда бы я не устал любоваться ими.

Я продрог, засыпая, а проснулся совершенно согретый. Солнце уже взошло, жаркое солнце Италии. Я сперва приветствовал лучезарное светило, а потом уже смотревшую на меня с берега колоссальную статую. Вы знаете по гравюрам и по фотографическим снимкам восхитительную панораму, представляющуюся взорам при входе в генуэзскую гавань. Живописные сады палаццо Дориа тянутся вдоль берега; статуя, о которой я говорю вам и которая так давно стоит на холме, будто приветствует приходящие суда радушным: «Добро пожаловать». Итак, я избавляю вас от излишних описаний. С первого взгляда город кажется скорее странным, чем великолепным, но самая эта странность производит приятное впечатление; и если Средние века не оставили здесь ничего величественного, то и ничего мрачного.

Вы должны ждать здесь высадки, по крайней мере, два часа, и потом за удовольствие провести день в сардинских владениях вы дорого поплатитесь, под предлогом прописки паспорта; не говорю уже о потерянном времени в ожидании исполнения всех формальностей со стороны полиции и посольств. Наконец, я добрался до города и бросился отыскивать какой-нибудь ресторан, чтобы позавтракать. Товарищ мой, Брюмьер, не пожелал сойти на берег, потому что его греческая принцесса осталась на пароходе. Он остался хлопотать о счастье поговорить с предметом своей страсти, разведать о ней от слуг. К тому же он, не хуже нашего спутника-арфиста, презирает Геную, презирает все, кроме семи холмов Вечного города.

Я попал в кофейную под вывеской «Concordia». Увидев из окошка небольшой садик, я приказал приготовить мне мой кофе под тенью померанцевых деревьев, покрытых плодами, посреди множества цветов, которым лучи солнца придавали невыразимый блеск. Не завидуйте, впрочем, мне. Здешний климат если не так суров, то, право, так же непостоянен, как и наш. Наши несносные весны последних лет отдались и здесь, и я слышу, как говорят мои соседи, что сегодня первый ясный день в этом году. Я благословил небо, допустившее меня видеть во всем блеске солнечного дня древнюю царицу Средиземного моря. Марсель перещеголял Геную в торговле, в прогрессе и в образованности, но она по своему убранству и живописным особенностям похожа на прекрасную гражданку, тогда как Марсель не более как прелестная авантюристка. Первая из них благоразумна, убрана прилично и по моде, роскошно, опрятно, но убрана как и все; последняя принарядилась немного странно: рядом с изящным убором вы видите на ней бог знает какие украшения, но она исполнена увлекательной грации, и ее странности очень милы.

Общий вид Генуи неудовлетворителен, но зато некоторые подробности увлекательно прекрасны. Разрисованные дома отвратительны; к счастью, эта причуда выходит из обычая. Город, разбросанный по неровной поверхности, не имеет ни начала, ни конца, но красивые улицы действительно прекрасны. Здесь называют красивыми улицы, застроенные великолепными дворцами. По несчастью, эти улицы так тесны, что великолепные дворцы совершенно загромождены. Проходящие могут любоваться входами и нижним этажом этих зданий, но верх их и соразмерность частей невозможно хорошо видеть ни с одного места узкой улицы.

Чтобы обозреть одно из этих зданий снаружи и внутри, надобно посвятить целый день. Разнообразие стиля удивляет, занимает и утомляет вас. Много мрамора, много фресок, много

позолоты, и все это стоило много денег. Снаружи дворцы не велики и не величественны, но внутренние комнаты огромны, и невольно дивишься, как такие огромные залы находятся в таких небольших зданиях. Прекрасные городские сады и скверы обстроены некрасивыми домишками; церкви великолепны и наполнены драгоценными предметами; там крутая тропинка, окаймленная громадными, но уродливыми зданиями; мрачные и грязные проулки, из которых взор внезапно упирается в массу яркой зелени; спереди и сзади отвесные скалы; далее, видимая с высот синяя равнина моря, бесконечная цепь исполинских укреплений, сады на крышах, виллы, разбросанные на окрестных холмах; множество неуклюжих, выдавшихся из городской черты построек, которые издали ломают естественные очертания города; все это без связи, без соразмерности; это не город, а куча гнезд, свитых разными птицами из разных материалов, по своему выбору, где какой вздумалось. Если это Италия, то, наверно, не та, о которой мы грезим. Лучше всего не обращать на это внимания и покориться без борьбы влиянию окружающего нас беспорядка, который невольно кружит голову с первого взгляда.

Пробежав два-три часа по улицам, то восхищаясь, то досадуя, я, наконец, вошел в один из дворцов. Друг мой, какие превосходные картины Ван Дейка^[15] и Веронеза^[16] я там видел! Но как досадно смотреть на странную смесь изящества и безвкусыя во внутренних украшениях этих палат! Рядом с превосходными произведениями образцовых художников – грубо нарисованные портреты; украшения новейших времен возле роскошного убранства и редкостей искусства, собранных предками нынешних владельцев. Что за нищенская мебель! Как странно видеть дешевый английский фаянс возле драгоценного китайского фарфора, и как удивлены наши французские бронзовые безделушки последних времен, попав в общество древних статуй и неоцененных картин!

Кажется, что потомки знаменитых мореплавателей разлюбили всю эту роскошь пиратов; может быть, они утратили не только склонность к великолепию, но и любовь к изящному. Говорят, что во многих дворцах неверные слуги распродали много драгоценных картин и заменили их плохими копиями, а владельцы и не подозревают подлога.

Чтобы высказать вам одним словом общее впечатление, произведенное на меня Генуей, я скажу вам, что здесь все или приятная неожиданность, или неожиданное разочарование. Впрочем, если бы я был в расположении работать, картинность места, быть может, удержала бы меня здесь; в этом грязном городе на каждом шагу открывается новая панорама; пришлось бы останавливаться перед каждым из этих проулков, которые ломаными линиями пробираются с одного плана на другой, ползут бесчисленными аркадами, соединяющими дома между собой и бросающими на эти ущелья жилых гор мягкие, прозрачные тени. О, если бы дело шло только о живописи, то для кропотливого артиста, в таком проулке, с его подвижной перспективой, достало бы предметов на целую жизнь. Но мне не это нужно: я должен идти вперед, я должен изучать и, наконец, жить, если будет возможно.

Пока я пожирал Геную глазами, ногами и мыслью, господин Брюмьер преследовал свою богиню. Я расскажу вам его приключения, чтобы заставить вас позабыть безобразный эскиз, который я только что набросал вам.

Возвратясь на пароход в восемь часов вечера, голодный и усталый, я нашел на палубе такое многочисленное великосветское общество, что можно было счесть себя в бальном зале. Дело в том, что число наших пассажиров значительно возросло. На пароход перебралось много англичан (без англичан нигде не обойдется на земном шаре), несколько французов и, наконец, дюжина туземцев, которые притащили с собой своих жен, чад, приятелей и знакомых; все эти случайные гости, приехавшие проститься со своими, расхаживали по палубе и болтали в ожидании поднятия якоря.

Посреди этой сумятицы, говора и шума, усиливаемого музыкой кочующих певцов и гитаристов, окружающих пароход на маленьких лодках и протягивающих свои шапки к пассажирам, докучливо вымогая от них добровольные награды артистам, я имел случай снова заме-

тять, что генуэзец не скрытен, болтлив, весельчак, радушен и охотник до сплетен. Эти качества отражались, по крайней мере, на всех физиономиях и слышались в голосе тех, кто говорил на местном простонародном наречии. Духовные особы показались мне людьми веселого нрава и шутивными, вовсе не похожими на французских священников; видно, что они в большем контакте с местными жителями и принимают большее участие в их житейских заботах. Мне, однако же, сказывали, что общественное мнение здесь не очень к ним благоприятно.

Наконец гудок парохода избавил нас от докучных посетителей, которые убрались в свои лодки, простившись со знакомыми пассажирами и напутствуя их сердечными пожеланиями. Когда на палубе стало просторнее, я отыскал своего приятеля Брюмбера; «Кастор» шел уже на всех парах.

– Я преглупо провел нынешний день, – сказал он мне, – моя принцесса проспала все время в своей каюте, откуда только недавно появилась вся раздушенная и обворожительно причесанная. Я было подсел к ней, но почтенная тетушка, переставшая, на беду, страдать морской болезнью, изволила увести ее от меня! Посмотрите, вон они сидят да посмеиваются над нами!

Я взглянул на тетку. Вчера она показалась мне старухой, но теперь, освободившись от своих чепцов и от безобразного зеленого зонтика, который путешествующие англичанки прикрепляют к тульям своих шляпок, она представилась мне довольно благообразной, полной женщиной, не слишком пожилых лет. Принцесса действительно мастерски убрала свои темные волосы и позволила нам любоваться изящной прической, держа в руках свою соломенную шляпку с зелеными бархатными лентами. Мне казалось, что они не обращают на нас ни малейшего внимания.

– По крайней мере, – сказал я Брюмберу, – вы знаете теперь, кто эти дамы, вы имели время разведать это.

– Тетка – англичанка чистой крови, – отвечал он. – Племянница ее, может, ей и не племянница. Вот все, что я знаю. Багаж свой поместили они на самое дно трюма, а на ручных чемоданчиках вместо имен выставлены цифры. Слуга их ни слова не знает по-французски, я ничего не понимаю по-английски, и бедная итальянка, их горничная, лежит при смерти, как уверяет Бенвенуто.

– Что это за Бенвенуто?

– Да ваш же артист. Его зовут Бенвенуто, этого бездельника. Я думал, что он будет мне полезен. Он пронюхал мою сентиментальную прихоть и, предупреждая мои желания, сам принялся прислуживать моей страсти с той неподражаемой угодливостью, с той проникательной догадливостью, которые характеризуют известную касту людей, очень пригодных в Италии вообще и на семи холмах в особенности; но мошенник пропил, кажется, мой задаток и, вероятно, храпит теперь за каким-нибудь тюком с поклажей. Словом, я ничего не знаю, кроме того, что они едут в Рим, и потому только я не унываю. Если бы это глупое море, теперь спокойное, как грязная лужа, вздумало хотя немного разыграться, старуха убралась бы в свою койку... Но вы, кажется, меня не слушаете; кому же я имел честь все это рассказывать?

– Человеку, который слушал вас одним ухом, а другим прислушивался к знакомому голосу... Скажу вам теперь, что дама, которая везет в Италию вашу принцессу, действительно ее тетка, миледи NN; я не знаю ее фамилии, но знаю, что при крещении ей дали имя Гэрриет; знаю также, что она вышла за младшего сына знатной фамилии и принесла в приданое восемьсот тысяч фунтов стерлингов дохода. Муж ее добрый малый и честный человек; он не всегда бывает в веселом расположении духа, но это делу не помеха. Ваша героиня точно знатного происхождения и, может, будет наследницей этого огромного богатства, потому что у милорда и миледи детей нет.

– Задиг, – вскричал обрадованный Брюмбер, – скажите ради бога, где вы провели все это?

– А вот и милорд, – продолжал я, указывая на лысого англичанина в клетчатых панталонах, который подошел к дамам и почтительно разговаривал со своей женой.

– Что вы, это лакей!

– Уверю вас, что нет. Если он не хотел отвечать вам, так это потому, что вы не были ему представлены и что он не хочет казаться в глазах миледи тем, что он есть, а именно человеком неспесивым и знающим французский язык, как мы с вами.

– Но, любезный Задиг, объяснитесь, откуда вы все это знаете?

Я не хотел открыть тайну моего всеведения, во-первых, чтобы позабавиться удивлением приятеля, а отчасти по чувству, может быть, даже излишней деликатности. Я узнал семейную тайну лорда NN, слушая через перегородку таверны, с вниманием не совсем уместным, конфиденциальный разговор двух друзей, и не почитал себя вправе рассказывать об этом другим.

Может быть, и вы, добрый друг мой, назовете меня Задигом, не понимая, как узнал я человека, которого не видел в лицо. Я отвечу вам, что, во-первых, голос, его произношение, тон, то унылый, то комический, которым он начинал свои фразы, глубоко залегли в моей акустической памяти. Если бы я хотел прослыть колдуном, я прибавил бы, что есть черты лица, выражения физиономии, даже осанки, которые до того приходятся под лад некоторым способам выражаться и некоторым особенностям характера и положения, что нельзя ошибиться. Но чтобы не отступать от истины, я должен признаться вам, что, когда выходил из трактира на «Резерве», я встретил на крыльце лицом к лицу этих двух господ в ту самую минуту, как мальчик подавал им фонарь, чтобы закурить сигары. Один из них показался мне флотским офицером; другой был тот самый лысый барин, в клетчатых панталонах и в лакированном картузе на затылке, который подошел к миледи. Они недолго разговаривали, мне не были слышны их слова, но я уверен, что разговор их был следующего содержания:

– Вы курили?

– Уверю вас, что нет.

– А я уверю вас, что да.

И милорд отошел с покорностью, посвистал что-то, глядя на звезды, и пошел курить за трубой парохода. Он, может быть, и не вздумал бы взяться за сигару, да жена напомнила ему ощущение этого удовольствия.

Наконец исполнилось и другое желание Брюмьера, восхищенного моими открытиями; ветер начал крепчать, на море поднялась волна. Леди Гэрриет сошла с палубы. Племянница кажется понадежнее; она осталась с горничной на скамейке. Брюмьер начал похаживать около них, а я ушел вниз. Я пишу к вам в общем зале, куда милорд NN только что пожаловал с прегадкой бурой собакой, которую, как я догадываюсь, он купил в Генуе, чтобы жена почаще прогоняла его от себя. Может быть, хоть это животное его полюбит. Но качка усиливается, и мне становится трудно писать. Ночь нехороша; под открытым небом свежо и неприятно; иду отдыхать от крутых улиц и несносной кирпичной мостовой великолепной Генуи.

Глава V

Суббота, 17 марта. Все еще на пароходе «Кастор»

Одиннадцать часов вечера; я опять принимаюсь за свой дневник. Брюмьер все еще влюблен, милорд все еще молчалив, Бенвенуто по-прежнему услужлив. Товарищ мой не захотел сойти на берег в Ливорно, куда мы заходили сегодня утром после довольно беспокойной ночи, несмотря на верную осадку и спокойный ход «Кастора». Сегодня погода парижская: сыро, пасмурно и вдобавок холодно. Где же ты, лазурное небо Италии? Я намерен еще раз побывать в этих городах, которые посещаю теперь проездом. Трудно противиться искушению сойти на берег, когда пароход останавливается в гаванях и стоит, окруженный лесом мачт вовсе неказистых судов, в спертой атмосфере. Я лучше согласен платить пошлину всей местной полиции, чтобы как-нибудь разнообразить свой скучный день. Это вводит меня в расходы не по карману бедняка живописца, но я уже освобожден от стеснительной клятвы, и пусть не прогневадается аббат Вальрег, а я намерен жить, не скучая от жизни.

Я не успел ступить на мостовую Ливорно, как двадцать «веттурино» окружили меня, предлагая свезти меня в Пизу. По железной дороге я проехал бы это небольшое расстояние в несколько минут, но поезд отошел, когда я приехал. Я уже решался заплатить тройную цену, которую запросили с меня эти грабители, как Бенвенуто явился предо мною добрым гением, сторговался, вскочил на козлы и, непрощенный, вступил в должность моего чичероне. Как удалось ему выбраться с парохода? Как отделался от убыточных формальностей высадки, которым я вынужден был подчиниться? Бог его знает, у цыган есть свое Провидение.

Мы ехали мимо обширных равнин наносной почвы, с которых море недавно отступило. Во время Адриана^[17] Пиза стояла у самого устья Арно; теперь город отстоит от устья реки на три лье. На окраинах этих наносов растут кое-где тощие оливковые деревья и болотный кустарник; над покрытыми водой полями носятся стаи морских рыболовов. Далее от моря обработанные поля, разбитые с однообразной правильностью на участки и селения, не имеющие никакой своей характерной физиономии. Зато Пиза имеет разительную. Все в ней торжественно, пусто, широко, открыто, обнажено, холодно, печально, но в общем довольно красиво. Позавтракав наскоро, я побежал осматривать памятники. Греко-арабская базилика и ее уединенная крестильница, наклоненная башня, Кампо-Санто, все это на обширной площади представляет величественное зрелище. Я не скажу вам, в подражание печатным путеводителям, что вот это прекрасно, а то имеет недостатки и не согласуется с понятиями об изящном и с правилами искусства. И образцовые произведения не чужды недостатков, а эти здания, построенные и украшенные в разные эпохи, поневоле должны отражать и прогресс, и упадок искусства. Воля и могущество каждой эпохи выразились в этих памятниках; вот почему вид их внушает уважение и возбуждает интерес. Эти громадные сооружения, поглотившие много труда, богатства и умственных способностей нескольких поколений, стоят будто надгробные памятники над могилами идей, украшенные трофеями, выражающими идеалы своего времени.

Наклоненная башня – прекрасный памятник и замечательна уже сама по себе, не только благодаря случаю, который свел ее в разряд любопытных диковинок. Галилей изучал на ней условия тяготения тел. Не стану описывать врата Гиберти: вы сами хорошо знаете их. Мы работаем не хуже тогдашних художников, но мы искусно подражаем и ничего не создаем. Честь и слава старинным мастерам! Признаюсь, впрочем, что фрески Орканьи мне не очень понравились; это странная греза, и я должен был перебрать в памяти все выше приведенные мной размышления, чтобы смотреть на этот бред кисти без отвращения. Прочие фрески Кампо-Санто менее отзываются варварством, но плохо сохранены, несколько раз обновлены и многие совсем изменены. Только глазами веры можно отыскать в них следы кисти Джотто^[18]. Неко-

торые фрески (может быть, его) скомпонованы мило, наивно, но все не стоят исступленного восхищения, которым угрожал мне Брюмбер.

Однако этот Кампо-Санто остается в душе и тогда, когда вы уйдете оттуда. Трудно сказать, почему память уносит с собой картины этого здания, разрушенного или недостроенного, покрытого тесом. Рамка красивой колоннады на лугу – еще не бог весть какое чудо; есть колоннады лучше этой, в Испании и в некоторых монастырях других земель, которые мне случилось видеть в рисунках. Коллекция антиков, хранящихся в монастыре, не более как сбор очень поврежденных экземпляров; этот музей, как сказывают, уступит пальму первенства каждой из римских галерей. Изящных фрагментов здесь мало, зато есть всего понемногу, и надобно сознаться, что этот обширный монастырь, которого готические контуры, освещенные бледным лучом солнца, на несколько минут обрисовались передо мною, теньными очерками набегали, эти мрачные дали, где таинственно покоятся римские гробницы, греческие надгробные полустолбы, этрусские вазы, барельефы эпохи Возрождения, тяжелые торсы времен язычества, тощие мадонны византийской работы, медальоны, саркофаги, трофеи и пресловутые цепи блаженной памяти Пизанской гавани, отбитые и возвращенные генуэзцами; мелкая и бледная мурава луга, усеянная вялыми фиалками; словом, все, не исключая и деревянных поделок, которые ничего не достроили, но ничего и не испортили, – все вместе составляет величественный памятник, возбуждающий думы и производящий глубокое впечатление. Итак, верьте прекрасным фотографиям, глядя на которые мы, бывало, говорили: «Эффект все украшает». Нет, Кампо-Санто чарует не одними магическими эффектами солнца, на этот памятник можно смотреть без восхищения, но образ надолго остается в душе.

Соборный храм – другой музей религиозного и мирского искусства. Византийские мозаики сводов поразительно прекрасны; но мраморная мозаика центрального помоста бросила меня в дрожь благоговейного почтения. Это та же самая мозаика, что и в храме Адриана. На ней отправлялось служение богам древности, прежде чем стены языческого храма превратились в дом Божий; ее попирали жрецы Марса, изваяние которого и теперь еще сохранилось в церкви, окрещенное именем св. Эфеса. Если б этот вековой помост мог говорить, сколько пересказал бы он нам событий, которых мы напрасно доискиваемся воображением!

Вы скажете мне, быть может, что воды реки Арно или хребты Пизанских гор видели еще более. Я отвечу вам, что в нас никогда не рождается желание вопрошать безответную природу о судьбах человечества; мы знаем, как верно хранит она заветные тайны. Но как только рука человека добыла из недр ее камень и изменила его первобытные формы, этот камень становится памятником, существом одушевленным, свидетелем событий, и мы жадно ищем на нем надписи, борозды резца, какого-нибудь следа руки человеческой, который стал бы для нас живым голосом, внятным преданием.

В этом, я полагаю, кроме живописного эффекта форм, заключается интерес развалин: с ними беседует наше любопытство. Признаюсь, я утомлен печатными рассуждениями о судьбах народов и о падении государств. Лет сорок назад, в период нашей империи^[19], было в моде оплакивать превратность великих эпох и великих обществ. А между тем мы и сами были тогда великим обществом, жили тоже в великую эпоху и претерпевали бедствия, превращения. Мне кажется, что жалеть о том, чего уже нет, тогда, когда нужнее сознание, что надобно быть чем-нибудь, – пустая поэтическая мечтательность. Прошедшее, каково бы оно ни было, имело право на свое существование и оставило нам эти свидетельства, эти обломки своей жизни, не для того, чтобы отбить у нас охоту жить. Оно должно было бы сказать нам таинственными письменами развалин: «Действуй и начинай снова», вместо этого вечного: «Смотри и ужасайся», фразы, которую литературная мода навязывала романтическим путешественникам в начале нашего столетия.

Знаменитый Шатобриан^[20] был одним из ревностнейших распространителей этой моды; но он сам был развалина великая, благородная развалина идей, отживших свой век. У него

бывали минуты великодушных порывов, как бывают у всякой прекрасной природы, как трава пробивается в расщелинах старых сводов; но эта трава увядала против его воли, и мысль его, как опустевший храм, разрушилась в сомнении и безнадежности.

Но я удалился от Пизы. Нет, я не так далеко отошел от нее: я думал все это, проходя по широким улицам, поросшим травой, и глядя на великолепные дворцы, которые величаво и уныло смотрятся в зеркало реки. Целая Пиза то же Кампо-Санто: кладбище, на котором опустевшие дома стоят как надгробные памятники. Без помощи англичан и больных из всех северных стран, что съезжаются туда в известную пору года, я думаю, Пиза окончила бы свое существование, как маленькие республики аристократов: она умерла бы.

Нечего сокрушаться ее судьбами: в ее жизни были завидные дни, когда ее конституция была, для того времени, великим прогрессом, Пиза была царицей Корсики и Сардинии, царицей Карфагена – другой развалины, участь которой ожидала и ее впоследствии. Пиза имела сто пятьдесят тысяч жителей, великих художников, флот, знаменитых полководцев, колонии, завоеванные области, несчетные богатства и все упоение славы. Она построила памятники, которые и теперь существуют, которым и теперь удивляются иностранцы. Но настали времена, когда эти маленькие общества, полные жизни и огня, становятся уже не центром распространяющегося влияния, не источником благоденствия для других, а средоточием поглощающей силы, безднами, привлекающими жизненные соки других наций, не возвращая их, как не возвращают своей добычи коршун и пираты. С этой поры их упадок и опустение предрекаются приговорами неба. Юпитер теперь уже не громовержец; но Провидение поселило в сердцах обществ ненасытного червя эгоизма, чтобы он пожирал их, если люди станут через меру удовлетворять его голод. Завистливые или раздражительные соседи затеяли упорную борьбу; отступившее море приютило новых пришельцев на берегах своих. Город Ливорно возник с идеями положительными и, не гоняясь за искусствами и роскошью, утвердил свое господство торговлей. Оскорбления, неизбежные спутники несчастья, наносили удар за ударом гордости высокомерных пизанцев. Благородная республика была продана; чужеземцы вторглись в ее пределы, ограбили ее, оспаривали ее друг у друга, как добычу; голод, чума и недостаток опустошали ее. Ее уже нет. Прекрасная Италия прошлых времен продана и так же погибла, как она, за то, что слишком питала в недрах своих интересы соперничества, за то, что источником ее славы были своекорыстные страсти, а не великодушные движения души.

Requiescat in pace! Я слишком долго водил вас за собой в этом убежище мира и тишины. Пойдемте теперь к пароходу через поля и луга, озарившиеся наконец лучами солнца. Я окинул приветным взором окрестные горы *monti Pisani*, которые густой туман скрывал от меня сегодня утром; они служат прекрасной рамой для величественных памятников города. Не знаю, видны ли отсюда в ясную погоду хребты Апеннин; Пизанские горы – их отроги, отрывочное продолжение той же системы.

Бенвенуто был мне очень полезен. Он учен по-своему и болтун не бессмысленный. С его помощью я учусь итальянскому; я и прежде знал немного этот язык, но его музыка была сначала слишком нова для моего слуха, и я не мог еще сразу понимать речь; я надеюсь скоро к ней привыкнуть.

Вот я и опять на море. Передо мной, как светлые грезы, проходят чередой Корсика, остров Эльба, скала Монте-Кристо, которой пламенный роман придал известность и которую какой-то англичанин купил с тем, чтобы поселиться на ней.

Говорят, что англичане страстно любят утесистые острова Франции и Италии. Гений этих островитян вечно грезит, где бы создать новый мир, как бы установить разумное или фантастическое господство. Впрочем, и я понимаю прелесть этих уединенных приютов, омываемых волнами моря. На некоторых из этих утесов лежит довольно плодородной земли, чтобы питать корни нескольких сосен. Если в этих скалах есть углубления в виде амфитеатров, обращенные к благоприятной стороне, на них могут гнездиться виллы с цветущими садами, защищенные

от волн и ветров, бушующих вокруг внешних сторон скалы. Лето на этих островах должно быть не знойное, а твердая земля довольно близко, и общественные сношения могут не прерываться. Я думаю, однако, что эти приюты опасны для разума. Окружающее море слишком охраняет здесь от всякой неожиданности, слишком приучает к независимости, которая ни к чему в уединении.

Брюмьер зашел ко мне вечером. Мисс Медора, точно, гречанка по происхождению, он в этом не ошибся. Отец ее, муж сестры леди Гэрриет, был афинянин чистой крови. Она влюблена в Рафаэля и в Джулио Романо^[21]. С благоговейным нетерпением жаждет она благословения Папы, хотя она и не очень набожна. Горничную ее зовут Даниеллой. Вот что рассказал мне сегодня Брюмьер.

Глава VI

Рим, 18 марта

Наконец, друг мой, я здесь! Но я добрался сюда не без труда и не без приключений, как вы сейчас увидите.

Я никак не ожидал видеть Италию в полном блеске всей ее жизни. Мне говорили, что, со времени расположения здесь наших войск^[22], о разбойниках нет здесь и помина, и действительно, как уверяют, благодаря нам порядок совершенно восстановлен в этой стране, где разбой – грустная необходимость. Это было доказано мне довольно убедительно, и я докажу вам это после. Вы нетерпеливо ожидаете рассказа о моем приключении, но я с умыслом заставляю вас ожидать, чтобы придать более эффекта моему случаю. Не каждый день бывают такие встречи, не часто приходится о них рассказывать.

Мы сошли на берег в Чивита-Веккии, простившись с «Кастором» и с его добрым капитаном Бозио. Мы завтракали в трактире, любуясь из окон, обращенных к городскому валу, как французские солдаты обучались с отличающей их ловкостью в приемах. Нас снова посетила полиция на пароходе, снова докучали нам таможенные заставы на берегу, снова помечали паспорта, брали пошлину, заставляли дожидаться по целым часам. Путешественник, сходя на берег, бывает, так сказать, оторгнут от своих первых впечатлений, от своей первой прихоти: бежать куда глаза глядят в стране, для него совершенно новой. Каждый путешественник везде возбуждает подозрение; везде он может быть разбойником, что, однако же, никак не препятствует настоящим бандитам приставать к любому берегу и настоящим путешественникам встречать на берегу туземных бандитов, если они в той стране водятся. Но, уверяю вас, что бандиты менее несносны в путешествиях, чем предосторожности местных властей против честных людей. Таможни – истинно варварское изобретение. Здесь можно откупиться от них деньгами; но не оскорбительно ли для путешественника, что он не может отделаться от них честным словом? Моря и горы не преграда для человека; но он сам так распорядился, чтобы в себе самом найти для себя и бич и помеху на этой земле, которую Господь даровал ему.

Дилижанс дожидался исполнения всех установленных формальностей, чтобы свезти нас в Рим. Этот переезд продолжается восемь часов, хотя до Рима всего четырнадцать лье, четыре перепряжки и везде добрые лошади. Не ужасно ли это? Дело в том, что на каждой станции приходится стоять по целому часу; почтальоны не везут, не собрав подати с бедных пассажиров. При дилижансе, правда, есть кондуктор; он как будто торопит ямщиков и, кажется, хлопочет о том, чтобы не было задержки, но все это комедия, и, вероятно, этот господин честно делится с грабителями. Он уверяет вас, что вы не обязаны ничего давать почтальонам, но что он не может их принудить к послушанию. Итак, бедные пассажиры в полной зависимости у этих негодяев, которые говорят вам грубости, если вы не уступите их дерзким требованиям, и горе вам, если у вас не окажется мелких денег на расчеты с ними, и именно таких денег, какие им по нраву. Если вы едете из Ливорно и не запаслись римскими «паоли», вы непременно подвергнетесь задержкам. Почтальоны сядут на лошадей, но не тронутся с места, пока вы не заплатите им их контрибуцию римской мелочью или, по крайней мере, не обещаете им принять меры на следующей станции к их удовлетворению. Им и дела нет, что все прочие пассажиры внесли свою долю; один недоимщик может задержать отправление. Шайка зевак, помогавших запрягать, также толпится около экипажа, также требует дани, сопровождая свои домогательства гримасами, показывая вам язык и величая обезьяной и свиньей, если в вашем подаянии окажется иноземная монета, хотя бы она и ходила в двух лье от этой станции.

Я уже не говорю вам о нищих по ремеслу, то есть об остальном населении, шатающемся по большим дорогам или бедствующем по деревушкам. Нищета их до того ужасна, до того очевидна, что рад им отдать, что можешь, но число их растет поминутно, и, чтобы никого не обде-

лить и не оставить недовольных, нужно было бы в три тысячи раз быть богаче меня. К тому же, достаточно взглянуть на них, чтобы видеть, что эта оборванная стая наделена всеми пороками, всеми низкими, презренными недугами нищеты: ленью, плутовством, неряшеством, неопрятностью, циничной терпимостью безобразной наготы, ненавистью без сознания собственного достоинства, суеверием без веры, самым низким лицемерием. Эти нищие бьют или обкрадывают друг друга той же самой рукой, которая перебирает зерна освященных четок. Прося подавляя, они не забудут ни одного святого в календаре, но в свою жалостную молитву примешивают бранные слова, если полагают, что их не поймут.

Вот какой прием, вот какое зрелище ожидает чужеземца на первом его шагу в Церковной области. Я слышал уже об этом, но мне казались эти рассказы преувеличенными, гневным выражением личного нерасположения к стране. Я не мог себе вообразить целое население без всякого достояния, ничем не занятое и существующее одной милостыней проезжающих.

Мы ехали несколько времени берегом моря довольно быстро, по извилистой дороге между холмами, не осененными ни одним деревом, но поросшими роскошными дикими растениями. В первый раз увидел я розовые анемоны, пробивающиеся сквозь ветви приземистого кустарника. Множество разнообразных полевых растений свидетельствуют о плодородии этой неводеланной почвы. Немного далее появились редкие попытки земледелия.

За последней станцией, когда мы находились в самой середине римской Кампаньи, почтальон вдруг остановился; он забыл на станции свой плащ. Пассажиры требовали, чтобы он ехал далее, настаивали, чтобы кондуктор понудил его. «Невозможно, – отвечал он. – Человек, который вздумал бы без плаща возвращаться ночью через равнину римской Кампаньи, не жилец на свете». Казалось бы, что это справедливо, но правда и то, что, отправляя мальчишку за своим плащом, мошенник шептал ему что-то на ухо с многозначительной улыбкой. Это означало: не торопись, потому что мальчик шел будто нехотя, оглядывался и, по условному знаку, еще убавил шаг. Что понуждало этого человека так поступать, бог его знает; никто из нас не мог бы решить, имел ли он какой скрытый замысел или хотел только досадить Брюмьеру, который угрожал вылезти из дилижанса и проучить его за сказанную им грубость.

Погода была прекрасная. Эта новая история с плащом, судя по предшествовавшим, не должна была скоро окончиться. Надеюсь прийти в Рим пешком в одно время с дилижансом, я вылез и пошел вперед вдоль по *Via Aurelia*. Брюмьер уговаривал меня. «Что тебе вздумалось, – говорил он. – Положим, что, по рассказам, давно уже никого не обирали, но все небезопасно путешествовать одному, и еще пешком, по этим благословенным странам. Не теряй, по крайней мере, из виду дилижанса».

Я обещал ему это, но скоро забыл свое обещание.

Мне и в голову не приходило, чтобы под самыми стенами столицы, среди белого дня и на совершенно открытом месте можно было попасть на неприятную встречу.

Я шел уже с полчаса один-одинехонек среди этой широкой пустыни, простирающейся до самого города. Грустная картина, лишенная всякого величия для пешехода, теряющегося на каждом шагу в частых углублениях почвы; он видит только рассеянные по долине ряды зеленеющих холмов с блуждающими на них там и сям стадами, покинутыми на целый день, на земле, также покинутой человеком. Самый страстный пейзажист пройдет здесь со стесненным сердцем, видя, что и сама природа стала здесь немой, опустевшей развалиной.

Солнце быстро клонилось к западу; по временам мне виднелся сквозь дымку сумерек огромный купол Святого Петра, не столь величественный, как я воображал его, но тусклый, мрачный, подобный печальному мавзолею на обширном кладбище. На одной из возвышенностей я вспомнил предостережение Брюмьера, но тщетно искал взором дилижанс; воздух начал свежеть, и я пошел вперед.

Немного далее несколько камней, выдавшихся из земли, привлекли мое внимание. Это был след древних сооружений, которыми изобилует Кампанья. Но так как я в первый раз уви-

дел эти остатки древнего мира у самой дороги, я машинально остановился, чтобы посмотреть на них. Я стоял тогда возле небольшого пригорка и случайно был заслонен от четырех бродяг подозрительной наружности, припавших к противоположной покатости пригорка. Я не видел их, подходя к холму, и они меня не заметили; мягкая мурава заглушила шелест моих шагов; но когда я поворачивал к дороге, чтобы продолжать путь свой, я увидел их, залегших в кустарнике, как заяц на логовище. В их положении и в их молчании выражалась какая-то таинственность, и я счел не лишним быть осторожнее. Я отошел от пригорка так, чтобы поставить эту неровность земной поверхности между мною и ими. В это время я услышал стук колес; полагая, что это дилижанс, я хотел уже бросить надоевшие мне предосторожности, как увидел, что четыре негодяя привстали на колени и ползком перебрались в расселину холма, которая примыкала к дороге, и таким образом очутились в двух шагах от проезжавшего экипажа. Это был не наш дилижанс, а наемная повозка, запряженная добрыми почтовыми лошадьми.

Я узнал этот экипаж, я видел, как в него укладывали в Чивита-Веккии багаж леди Гэрриет и ее семейства. Это была большая открытая коляска. Слуга, отправленный за несколько дней в Рим, чтобы выслать оттуда этот экипаж навстречу высокогородным путешественникам, как я узнал после, остался в городе, чтобы устроить приготовленное для них помещение. В коляске сидели лорд Б... (я знаю теперь его имя), его жена и его племянница. Итальянка горничная сидела на козлах.

Я легко понял намерение бандитов и начал придумывать, как бы помешать его исполнению. Истомленные нищетой и местной лихорадкой, они показались мне не очень сильными, кроме одного молодца, который, по наружности и одежде, казалось, был не туземец; этот был с виду сильного сложения. Все мое вооружение состояло в трости со свинцовой головкой вместо набалдашника, и я внимательно рассматривал, что именно волокни они по траве за собой с большой осторожностью. Когда они привстали в расселине холма, я увидел, что у них не было ничего, кроме дубинок; это обстоятельство утвердило мою надежду на успех. У них, вероятно, были и ножи за поясом, но нельзя было ожидать, чтобы эти люди завели себе пару пистолетов: это была бы роскошь не по их карману. Надо только не дать им времени пустить в дело ножи.

На моей стороне была уже та выгода, что я незаметно зашел сзади. Между тем как я обдумывал план моих действий и снимал верхнее платье, коляска подъезжала к роковому месту. Почтальон по первому требованию остановил лошадей и бросился на колени, припадая лицом к земле и прося пощады с удивительным смирением. Нас осталось только двое на четверых, и я счел нужным действовать с большой осторожностью, и когда лорд Б..., хладнокровно отворяя дверцы коляски, подсчитывал силы неприятеля, я подал ему знак, чтобы он не сопротивлялся; он очень хорошо меня понял и, выйдя из коляски, сказал им со спокойной улыбкой:

– Не мешкайте, друзья мои, дилижанс едет вслед за нами.

Эта угроза, казалось, не очень их встревожила; видя, что путешественники и не думали защищаться, что дамы не кричали и добровольно вышли из коляски, оставляя в их распоряжении свою поклажу, бандиты предложили дружелюбную сделку и сделали это предложение в выражениях самой комической вежливости, изъясняя признательность за *gentilezza del cavaliere* и сказав милое приветствие дамам.

Я шел за ними по пятам и, приближаясь к высокому парню, который стоял молча с поднятой дубинкой над головой лорда Б... в виде предупредительного намека, изо всех сил ударил его своей палкой по затылку, так что он упал замертво.

Лорд Б... в одно мгновение подхватил дубинку, выпавшую из рук упавшего разбойника, и тотчас сбил с ног оторопевшего бандита, который вступил было с ним в переговоры; третий мошенник, державший лошадей, не дожидаясь нападения и пустился бежать; четвертый схватился было за нож, но, видя участь товарищей, тоже побежал. Таким образом, на месте битвы остались мы с лордом, разбойник, просящий пощады, другой, не подающий и признака жизни,

почтальон, лежащий лицом к земле, не решающийся взглянуть, что около него происходило, и испуганные женщины.

Когда мошенник, сбитый с ног, увидел, что ему не увернуться от нас, он очень замысловато придумал тоже упасть в обморок, вероятно, чтобы затруднить нас на случай нашего намерения взять его пленником.

– Я знаю эти проделки, – сказал мне лорд Б..., который, казалось, вовсе не был взволнован происшествием. – Если мы будем здесь ожидать дилижанса, которой бог весть когда к нам подъедет, эти господа могут к нам снова пожаловать с подкреплением; мщение замешается в дело, и тогда нам несдобровать. Если мы поедем далее, мы упустим этих мерзавцев, которые, кажется, с умыслом присмирели и вовсе не так безжизненны, как прикидываются. Лучше всего возвратиться к дилижансу и поторопить его приехать сюда; тогда мы составим акт, удостоверяющий о происшествии, и захватим двух раненых, прежде чем они очнутся.

Лучше ничего нельзя было придумать. Почтальона пришлось приводить в себя пинками. Лорд Б... не отказался бы, кажется, употребить это успешное средство и со своей супругой, которая была так взволнована, что никак не могла попасть ногой на подножку экипажа. Племянница сохранила геройское спокойствие. Лорд Б... предложил мне разместиться вместе с ними, но я отказался. Усадив на лошадь почтальона и заставив его повернуть лошадей, я вскочил на козлы и уселся возле горничной, испуг которой выражался потоками слез. Мне некогда было унимать ее нервный припадок.

Через четверть часа мы отыскали дилижанс, рассказали о происшествии и поехали вперед, чтобы указать место нападения и представить кондуктору видимые доказательства наших показаний. Но каково же было наше удивление, когда мы прибыли на место! Ни убитых, ни раненых, ни малейшего следа события, ни капли крови, которая струей лилась из проломленного мною черепа, ни следов колес или лошадиных подков на песке. Будто ветром смело все эти признаки, хотя в воздухе незаметно было ни малейшего волнения.

Лорд Б... был скорее оскорблен, чем удивлен этим случаем. Ему в особенности казалось обидным сомнение, с которым почтальон дилижанса слушал наши рассказы. Почтальон коляски хранил молчание, весь дрожал, был бледен и, может быть, обманут в надеждах. Брюммер и несколько пассажиров верили словам моим; другие говорили шепотом друг другу, что нам приснилась вся эта битва и что мы рехнулись со страха. Несколько пастухов, пришедших загонять стада, тоже смеялись и божились, что ничего не видали и не слышали. Лорда Б... разбирала охота сердиться и приступить к подробному исследованию, но наступила ночь, и пассажиры дилижанса торопились в город, а леди Гэрриет, больная и нервная, бранила своего мужа за его упрямство. Брюммер, восхищенный неожиданной встречей со своей принцессой и завидуя моей роли счастливого избавителя, воспользовался случаем и осыпал ее нежными ухаживаниями. Когда мы отправились в путь, не знаю, как это случилось, но я очутился в дилижансе, Брюммер с дамами в коляске, а милорд на козлах, с горничной.

Эта камер-фрау, сказать к слову, очень недурна собой; по нескольким словам, которыми мы обменялись, когда я сидел с ней на козлах, я заметил, что у нее нежный голос и приятный выговор. Я оставил ей мою накидку; она была слишком легко одета, чтобы выдержать инфлюэнцу, то есть атмосферу смертной лихорадки, которая господствует здесь от зари до зари и которая, как и степь и грабеж, царствует на всем пространстве Кампании до самого Рима.

Я и забыл об этой накидке и вспомнил о ней только у заставы Кавалледжиери, где мы остановились, чтобы еще раз предъявить свои паспорта, и где милая камерина принесла мне ее. Когда я протянул руку, чтобы принять от девушки мою одежду, я почувствовал на руке теплое прикосновение ее свеженьких губок, и, прежде чем я мог дать себе отчет в причине такой странности, она уже исчезла. Подошедший ко мне Брюммер от души смеялся моему изумлению. «Тут нет ничего странного, – уверял он, – это обычай: так благодарят здешние за

оказанную услугу, и это не дает вам права ожидать чего-нибудь более». Но и это было больше всего, что я решился бы требовать от хорошенькой женщины.

Целый час осматривали наши чемоданы; кондуктор сказал нам, что это еще ничего не значит и что мы должны будем выдержать еще более тщательный и более продолжительный обыск в таможне, но что он может избавить нас от него, если мы дадим ему каждый по два паоло. Мы умирали с голода и охотно исполнили его требование; но, когда мы приехали в таможню, наша складчина ни к чему не привела, почтенный кондуктор не мог сойтись с приставами. Преинтересный разговор завязался между ними. Таможенные требовали по полтора паоло с души; кондуктор хотел поделиться пополам и предлагал по одному паоло. Пристава не соглашались, кондуктор рассердился и оставил все деньги у себя, а нас осмотрели.

Когда мы выбирались из этого чистилища, смеясь с досады над всем этим шутловством, и собирались каждый искать себе ночлег, лорд Б..., у которого было особое разрешение на пропуск и который давно уже нас оставил, дружески ударил меня по плечу и сказал мне:

– Я сейчас сделал заявление о нападении на нас разбойников и потом отвез жену и племянницу на приготовленную для них квартиру. Теперь, по их приказанию, я приехал за вами. Есть у вас здесь родня или друзья, у которых вы намерены поселиться?

Я не хотел лгать, но отложил бы мое посещение этих дам до другого дня, извиняясь тем, что я голоден и устал.

– Если вам хочется есть и отдохнуть, я не допущу, чтобы вы остановились в гостинице, где вы не найдете ни хорошего ночлега, ни порядочного стола. У нас готова для вас удобная комната, и мы ожидаем вас к ужину.

Все мои отговорки ни к чему не привели.

– Я не возвращусь без вас домой, – сказал мне лорд, – а дамы до вашего возвращения не сядут ужинать.

Я отказывался под предлогом, что не хочу покинуть моего приятеля Брюмьера.

– Это не помешает, – возразил лорд Б..., – приятель ваш также может с нами отправиться.

Брюмьер не дожидался, чтобы лорд повторил приглашение. И вот мы в дороге, идем пешком по улицам Рима в сопровождении носильщиков, которые несли наши вещи, и Бенвенуто, считавшего себя в числе приглашенных.

Лорд жил очень далеко от таможни, и, признаюсь, я предпочел бы самую скромную гостиницу роскошному дворцу господина британского крeza, лишь бы не тащиться такую даль. Дворец этот, когда-то огромный, великолепный дом, показался мне совершенно запущенным. Мне некогда было рассматривать его архитектуру. Мажордом лорда хвалился, что устроил все с возможным здесь комфортом, но если он не хвастун, то надобно сознаться, что в Риме немного комфорта. Мебель новейших фасонов не идет к огромным комнатам этих палат, и везде очень холодно, несмотря на то, что уже три дня сряду пылает в комнатах неугасимый огонь.

Лорд Б... провел нас прямо в назначенную для меня комнату, где мы оставили наши вещи, а потом к леди Гэрриет и мисс Медоре в гостиную величиною с порядочную церковь, плафон которой, покрытый густой позолотой и живописью, во многих местах растрескался. Дамы, однако же, искренне удивляются величию этих зал и стараются, кажется, омолодить это дряхлое великолепие. Множество свечей в канделябрах величественного стиля едва освещали огромный стол, в изобилии уставленный кушаньями. Это последнее обстоятельство было мне очень приятно; я страшно был голоден. Вы знаете мою умеренность в пище, но на этот раз или вследствие волнения от битвы на Via Aurelia, или, быть может, наглотавшись в течение трех дней соленого морского воздуха, я был очень голоден и потому почти глух и очень молчалив. Мы сели за стол. Удовлетворив первую жизненную потребность – мой голод, я начал за третьим блюдом знакомиться с моими хозяйками и удивляться их дружескому вниманию ко мне. Милые дамы, вероятно, под влиянием мифологических фресок, непременно хотели сделать меня Юпитером-избавителем, Аполлоном, победителем чудовищ. В миледи Гэрриет

это был энтузиазм возбужденных нервов; она, бедная, так перепугалась. Признательность мисс Медоры отзывалась насмешкой, походила на лукавое сознание оказанной услуги. Быть может, это обремененный желудок после столь сытного обеда путал мои мысли, но я ничего не понял из ее взоров, из ее улыбки, из ее преувеличенных похвал. Когда она заметила, что я более смущен, чем доволен ее словами, она оставила меня в покое и заговорила о живописи с Брюммером. Чуть ли она не малюет голубые и розовые развалины акварелью.

Благодарность лорда Б... была для меня приятнее; она казалась мне искренней. Когда я заметил ему, что с его ловкостью действовать палкой он, вероятно, и без меня сумел бы разделаться с мошенниками, лорд отвечал мне:

– Нет, с одним и, пожалуй, с двумя я справлюсь, но с тремя или с четырьмя трудно. У меня не больше двух рук и двух глаз. Я знаю, что трое из наших противников и одного не стоили, зато четвертый, с которым вы так ловко расправились, один стоил четверых.

Я отвечал, что мне это было нетрудно, потому что я напал на него врасплох.

– Я не силен, – прибавил я, – я не имел случая испытать, отважен ли я. В первый раз в жизни я увидел необходимость напасть на противника сзади и не хочу этим гордиться.

– Вы отвечаете как человек скромный, – сказал лорд Б..., строго взглянув на племянницу, что меня еще более убедило в ее нерасположении ко мне. – Но я, – продолжал он, – я знаю, что я и смел и силен, но без вас я не стал бы защищаться.

– Oh shame! – прошептала леди Гэрриет.

– Жена моя говорит, что это стыдно, – продолжал лорд Б... – Женщины находят весьма естественным, чтобы мы рисковали своей жизнью за их бриллианты, пока они будут лежать в обмороке у нас на руках.

– Я не была в обмороке, – прервала мисс Медора, – я искала в коляске пистолеты, и если бы я нашла их...

– Но вы не нашли их, – отвечал лорд Б..., – следовательно, были в смущении. Что касается меня, – продолжал он, обращаясь ко мне, – я уже говорил вам, что я не трус. Однако я никогда не затею неравной борьбы за безделицу, и я не так дорого ценю деньги, чтобы из экономии подвергать опасности жизнь тех, кого я сопровождаю. Пусть думают, пожалуй, что я берегу собственную жизнь. Да и за что бы я любил ее, не имея причин слишком любить самого себя? Но меня возмущает в подобных случаях принуждение исполнять волю тех, которые пристают с ножом к горлу. Я люблю повиноваться только собственной своей воле, хотя и не всегда повинуюсь ей; я уступаю иногда добровольно, иногда с досадой. Я был в этом последнем настроении, когда вы пришли ко мне на помощь, и вы не то что оказали мне услугу, за которую я хотел бы отблагодарить вас, вы только исполнили долг свой, как и я исполнил бы его на вашем месте, без всяких притязаний на вашу благодарность; но вы избавили меня кстати, и с большим благоразумием, от неприятности, самой несносной из всех мне известных. За это вы приобрели мою дружбу, и я желаю снискать вашу.

Проговорив все это и ни разу не взглянув на жену, хотя половина разговора, очевидно, относилась к ней, он протянул мне руку с невыразимым радушием.

В эту самую минуту отвратительная желтая собака, которую он ласкал при мне на пароходе, вбежала в комнату и бросилась ему под ноги.

– Боже мой, – вскричала леди Гэрриет, – опять эта несносная собака! Так она не отвязалась от вас?

– Право, это против моего желания, – отвечал лорд со вздохом.

– Неправда, вы купили эту собаку или вам ее подарили... Вы всегда меня обманываете! Вы сказали, что она принадлежит одному из пассажиров, но я вижу, что она принадлежит вам. Признавайтесь!..

Милорд инстинктивно, с отчаянием взглянул на меня. Инстинктивно увлеченный, в свою очередь, и невольно жалея и собаку, и ее господина, я вздумал сказать, что собака моя. Я слы-

шал, как милорд называл ее. «Буфало, – закричал я, – поди сюда; зачем ты, негодный, убежал из моей комнаты! Venez ici!» Умное животное, будто понимая, что происходило, подошло ко мне, покорно повесив голову. Я собирался отвести его к себе, но мисс Медора начала просить пощады за Буфало у миледи, а та, добрая во всем, что не касалось мужа, попросила меня не уводить собаки, накормить ее и приютить где-нибудь в углу столовой.

– Она мне не мешает, – сказала миледи. – Она, кажется, такая добрая и, право, не так отвратительна, как мне сначала показалось.

– Извините, – отвечал лорд Б..., – она точно безобразна; да к тому же вы ненавидите собак.

– Откуда вы это взяли? Я и не думала их ненавидеть.

– Виноват, миледи, – согласился бедный супруг с грустной улыбкой, – вы совершенно правы, вы ненавидите только моих собак.

Леди Гэрриет подняла глаза к небу, как жертва, призывающая Бога в свидетели людской несправедливости. Когда встали из-за стола, лорд Б... отвел меня в сторону.

– Вы добрый человек, – сказал он, – вы поняли, что я люблю эту собаку и по вашей милости ее не выгонят из дому. Благодаря вам вот уже в другой раз сегодня исполняю я собственную волю.

– За что вы так любите эту собаку, милорд? Она не очень красива.

– За то, что я спас ей жизнь. Катаясь на лодке в гемуэзской гавани, я видел, как эта бедная собака, вероятно отставшая от хозяина, прыгая с лодки на лодку, пришла искать убежища на баркасе рыбаков; эти жестокосердные люди повесили ее для потехи на рее своего судна. Я купил ее. Она будто понимает, что обязана мне жизнью, и, кажется, меня любит.

– В таком случае я останусь ее мнимым владельцем, пока это будет нужно, и постараюсь устроить так, чтобы миледи посоветовала вам приобрести ее у меня.

– Вот что значит каприз женщины, – продолжал милорд. – Если бы миледи видела эту несчастную собаку с веревкой на шее, а я прошел бы мимо, не позаботясь о ее спасении, она назвала бы меня бесчувственным, жестокосердным! Жена моя очень добра, уверяю вас, и весьма кроткого нрава; только беда в том, что я... ну, что я ее муж. Это непростительный недостаток быть жениным мужем!

Миледи, в свою очередь, отозвала меня в сторону.

– Мы обязаны вам более, нежели жизнью. Лишиться жизни – небольшое несчастье, но в таких встречах с разбойниками женщины подвергаются иногда оскорблениям нестерпимее смерти. Я уверена, что в таком случае лорд Б... пожертвовал бы своей жизнью, чтобы дать нам время уйти, но одно оскорбительное слово клеймит позором женщину нашей касты, нашей нации. Я скажу вам так же, как лорд Б..., и еще более от души, что мы предлагаем вам нашу дружбу и просим взамен вашей. Мы знали вас уже прежде, по словам вашего друга, – не помню его имени... Как зовут его?..

Мне было смешно, что меня спрашивали об имени человека, слова которого были для них достаточной за меня порукой, и поспешил сказать, что Брюмьер знал меня не лучше самой леди Гэрриет.

– Все равно, – отвечала она, не смущаясь, – он сказал нам, что вы живописец, как и он, и что у вас замечательный талант.

– Как может он знать об этом, миледи? Он никогда не видел моих работ.

– Все равно! Он сказал, что вы так хорошо говорите о живописи; он сам мастер говорить о ней. Он так умен и так хорошо знаком с приемами хорошего общества. Это премилый молодой человек, и о вас он так же отзывается.

– Это доказывает, – возразил я скромно, – что мы оба премилые молодые люди! Но позвольте, миледи, вы слишком добры; ваша признательность ко мне делает честь вашему великодушию, но я не должен...

– Я вижу, – прервала меня миледи, – вижу по вашей скромности и по вашей благородной гордости, что я не обманулась в вас и никогда не буду раскаиваться в моем к вам доверии. Вы небогаты, я это знаю; вы в несколько дней проживете в Риме, где жизнь так дорога для иностранцев, все деньги, предназначенные вами на продолжительное пребывание в этом городе. Наши доходы превышают наши издержки, и, кроме того, мы не нанимаем дома, в котором живем; нам уступили по знакомству этот дворец, и половины которого мы не занимаем. Вы можете занять целый свободный этаж, в который есть даже особый ход, если кто пожелает жить отдельно. Вы можете посещать нас и приходить к нам обедать тогда только, когда захотите, и даже вовсе не видаться с нами, если мы вам наскучили. Но чтобы не огорчить нас, вы будете жить под одной крышей с нами, дабы в случае болезни, что легко может быть в этом климате, мы могли навещать вас и быть вам полезными. Прося вас остаться с нами, я имею в виду наше собственное удобство, потому что где бы вы ни жили, мы всегда и везде будем всей душой заботиться о вас. Решайтесь и будьте на этот раз снисходительны.

Я был в большом затруднении. Предложение было так заманчиво и высказано с такой деликатностью, что невозможно было отказываться. Лорд Б..., более проникательный, отгадал причину моей нерешительности и помог выйти из затруднения.

– Она напомнила вам, что она богата, а вы нет, – сказал он мне так, чтобы леди Гэрриет могла расслышать. – Это с ее стороны неловкость, но намерение было доброе. Вы же можете выйти из всего этого с почетом, заплатив нам за свою комнату, что она самим нам стоит; это составит не более двух экю в месяц. Вы позволите предложить вам ненужные нам смежные с ней пустые комнаты; вы там будете заниматься живописью или прогуливаться, с сигарой во рту, в ненастное время. Согласитесь, – шепнул он мне на ухо, – если не хотите, чтобы меня обвинили в холодности, в невежливости, в неловкости и в неблагодарности.

Итак, дело о квартире решено. Оставалось решить, где поместится Брюмьер. Я боялся, чтобы он не согласился разделить со мной помещение, которое мне навязали. С его притязаниями на сердце и руку мисс Медоры он мог ввести меня в неприятные хлопоты. К счастью, предложение было сделано ему не с таким жаром, как мне, и он догадался отказаться. Но его пригласили приходить обедать как можно чаще, и это показывает намерение принимать его накоротке, по французскому обычаю. Я уже не в первый раз замечаю, что когда англичане вздумают быть любезными, они бывают любезны вполне. Так ли они ведут себя дома – не знаю...

Мы простились с дамами, утомленными дорогой и приключениями этого дня. Лорд Б... пошел проводить нас и показал нам расположение комнат, «чтобы Брюмьер, – говорил он, – мог навещать меня, не будучи вынужденным заходить к дамам». Когда мы проходили через переднюю в сопровождении Буфало, который впредь до дальнейших распоряжений оставался под моим покровительством, я увидел, что я еще не от всей моей свиты отделался. Посреди комнаты Бенвенуто отплясывал национальный характерный танец с хорошенькой горничной, которая поцеловала у меня руку. Они прыгали под звуки гитары, на которой, с видом первоклассного артиста, играл толстяк повар с черными усами – настоящая карикатура Каракаллы^[23], – недавно поступивший в услужение к их британским сиятельствам.

– Ну, воля ваша, – сказал я хозяину, – вот спутник, от которого я торжественно отрекаюсь. Этот цыган бог знает с чего пристал ко мне, и я не беру на себя рекомендовать его вам.

– Кто? Тарталья? – возразил лорд Б... улыбаясь. – Он же и Бенвенуто, и Антониучио, и разные другие имена, которых мы никогда не узнаем? Успокойтесь, этот чужак вовсе не за вами шел сюда; его завлек к нам запах кухни. Мы его давно знаем. Это давнишний содержатель наемных ослов и старинный гудочник Фраскати, соотечественник и родственник Даниеллы.

При этих словах милорд указал мне на пригожую горничную, продолжавшую прыгать и улыбаться, показывая ровный ряд зубов чудной белизны. Раздавшийся звонок не остановил ее среди танца, но кинул ее ловким прыжком к двери мисс Медоры, при которой она находится в должности куафера или куафезы.

– Нужен он вам? – спросил меня лорд Б..., указывая на Тарталью, и, по моему отрицательному знаку, сказал ему: – Ступай спать и приходи завтра спросить, не будет ли нужно миледи послать тебя куда-нибудь; завтра ты получишь обещанное платье, которое, кажется, будет для тебя нелишним.

Восхищенный Тарталья поцеловал всем нам руку. «Мошенник, – сказал ему Брюмьер на ухо, – зачем ты притворялся, что не знаешь ни семейства лорда, ни Даниеллы?»

– Эх, любезнейший господин, – отвечал он с бесстыдством, – много ли вы дали бы мне, если бы я сразу рассказал вам все? Несколько баек. А теперь вы целую дорогу кормили меня, пока я морил с голоду ваше любопытство.

Завтра я буду писать вам, любезный друг, о Риме, по которому я только прошелся сегодня, и то впотьмах. Я нигде не видал города с хуже освещенными узкими улицами и частыми перекрестками. Он показался мне бесконечным и наполненным удушливым запахом горячего сала, который поднимается с бесчисленного множества переносных жаровен *frittone*, расставленных под открытым небом и украшенных зеленью и бандеролями. Я прошел вдоль колоннады, что на площади Святого Петра, которая показалась мне величественным сооружением, хотя я взглянул на нее только мимоходом; прошел возле самой цитадели Св. Ангела; перешел Тибр и очутился сам не знаю где. Я так устал, что все представления смешались в голове моей. До завтра! Да, завтра, при восходе солнца, я вспомню слова ваши. Вы говорили мне: «Я так старательно изучал языческий и католический Рим, что знаю его на память, вижу его перед глазами. Мне снится иногда, что я там и что расхаживаю по городу, как по улицам Парижа. Пробудившись, я ощущаю впечатление довольства и восхищения, света и величия». Так и я проснусь завтра, чтобы видеть этот прекрасный сон! Мне почти не верится в это. Глубокое молчание, царствующее вокруг меня, заставляет думать, что я все еще иду по необозримой пустыне римской Кампаньи.

Глава VII

Рим, 19 марта, 10 часов утра

Я присидел целый час у окна. Я теперь на Монте-Пинчио, откуда открывается один из живописнейших видов на Рим. Да, отсюда точно прекрасный вид; перед вами расстилается обширное пространство, покрытое зданиями и памятниками, вероятно, прекрасно освещенными, когда бывает солнце; но сегодня день пасмурный и в воздухе очень свежо. Очертания долины, в которую углубляется Рим и откуда он взбирается потом на свои прославленные холмы, очень грациозны, но линия ближайшей окрестности холодна, горизонт слишком близок и скуден, несмотря на огромные пинии, формы которых рисуются на светлом фоне неба со стороны Villa Pamphili, но которые слишком редки и сухи в контурах. Я знаю, что эти бесчисленные памятники, дворцы, церкви стоят того, чтобы взглянуть на них вблизи, и что город вмещает в себя истинные сокровища для артиста; но что за безобразный, грустный, грязный город – этот великий Рим! Возвышающиеся над ним колоссы архитектуры еще резче обнаруживают его нищету – скажу более – его прозаичность, его бесхарактерность. Отсутствие характера в Риме! Кто мог ожидать этого? Тарталья – здесь все так называют Бенвенуто – стоит позади меня и уверяет, что на Рим не следует смотреть в пасмурную погоду и что красота этого города отнюдь не в гармонии целого... что новый Рим только унижает древний. Я убеждаюсь в этой истине, но я не умею понять частных, не уразумев общего лица; я тщетно выискиваю, на что все это походит – так похоже все это на дурно выстроенный город. Целые кварталы безобразных, будто покоробленных домов, не принадлежащих по стилю постройки ни к одной эпохе, одни ярко-белого цвета, другие темно-грязного; отсутствие всякой идеи, всякой связи, утомительное однообразие. Как понять это? Что породило это однообразие? Небрежность ли, недостаток или беззаботность о себе? Кажется, что позднейшие поколения не понимали, что они строятся на том самом месте, где стоял древний Рим, или, возненавидев его прежнее великолепие, причину неприятельских вторжений, источник многих бедствий, они поспешили скрыть следы этого великолепия, загромоздив его множеством тесных улиц и отвратительных зданий. Здесь не видно даже ни фантастической прихоти Генуи, ни торжественности Пизы. Возьмите тридцать или сорок бедных городишек Средней Франции и стесните их между памятниками Рима времен империи и владычества пап, вы увидите то, что теперь у меня перед глазами! Я смущен, я негоую!

Нынче, должно быть, день стирки: окна всех домов, даже великолепных палаццо, увешаны мокрым тряпьем. Заметьте, что здесь вы увидите не красный плащ генуэзского моряка, не пестрые мещари, которыми, как блестящими, яркими пятнами, оживляется гармоническая глубина тесных улиц Генуи: здесь висят бесцветные лохмотья на поблекших стенах или связки полинявших тряпок на развалине, на великолепном здании, закрывая собой детали компановки – единственную красоту, которую стоит видеть!

Неужели голос этого тягостного разочарования не замолкнет во мне? Нет, это влияние пасмурной погоды и моих тяжелых снов в эту ночь. Я лег в постель, не чувствуя ни сожаления, ни раскаяния в том, что ранил, может быть, даже убил разбойника, грабителя больших дорог, и вот во сне этот душегубец десять раз представлялся мне, и десять раз мне виделось, что я опять убивал его. Совесть упрекает меня, что на первом шагу в Италии, в этой священной стране, я вынужден был лишить ее одного из ее жителей. Как-то не пристало мне, человеку мирному и терпеливому, влюбленному в цветы, в поля и в ручейки, пробиваться, как рыцарю, сквозь мелодраматические засады разбойников.

Я огорчен, пристыжен, раздосадован. Я никогда не прощу этому отродью грубиянов-ямщиков, мошенников-кондукторов, оборванных нищих, которые превратили меня в злого человека; право, они виноваты, что я проломил голову первому бандиту, который под-

вернулся мне под руку, когда я был ожесточен ими. Хотел бы я знать, не прикинулся ли он мертвым? Унесли его или он сам ушел? Это напоминает мне обещание, данное мною лорду Б..., не выходить со двора, прежде чем схожу с ним в полицию объявить с моей стороны об этом происшествии. Тарталья уверяет, что ничего не нужно и что все это ни к чему не приведет, что нас с полгода будут водить на очные ставки со всеми мошенниками, задержанными за другие проступки, что, расследуя это дело, мы подвергнем себя еще худшим проделкам, как только выйдем из Рима, а быть может и в самом городе. Он, кажется, убежден в том, что говорит... Может быть, и он принадлежит к какому-нибудь почтенному акционерному обществу для облегчения путешественников от их пожитков. Я поступлю, впрочем, по усмотрению лорда Б...

Я передал вам мнение Тартальи и расскажу кстати, каким странным видением явился он ко мне сегодня, когда я только что проснулся.

– Восемь часов, эччеленца. Вы поручили мне разбудить вас.

– Ты лжешь. Мне не нужно и я не желаю слуги.

– Разве я слуга, месью? Вы ошибаетесь! Может ли римлянин быть слугою? Этого никто никогда не видел, и никто никогда этого не увидит.

– Ах, так? Так ты заботишься обо мне в качестве друга? Слушай же: мне на этот раз и друг не нужен. Убирайся!

– Вы не правы, месью. *Tu as souvent beson d'un plus petit que toi.* (Ты часто нуждаешься в меньшем себя.)

– Bravo! Да мы народ ученый, даже по-французски! Откуда ты подхватил, любезный, этот костюм?

– А ведь хорош, эччеленца, не правда ли? Я надел все, что нашлось у меня лучшего из утренних костюмов, и сейчас скажу вам, для чего это сделал. Лорд Б... обещал подарить мне платье. Я здесь на посылках, и миледи не угодно, чтобы я ходил оборванный.

– Так разве твой утренний костюм пришелся не по вкусу миледи?

– Бог ее знает, месью; не в том дело. Мне обещали платье и мне дадут его. Но если увидят, что у меня решительно ничего нет, мне сунут какой-нибудь поношенный лакейский сюртук, да и делу конец. Но если меня увидят в этом костюме, несколько щеголеватом, мне пожалуют черный сюртук, еще не старый, из гардероба милорда.

Вы видите, что Тарталья рассуждает не глупо. Но отгадайте, в чем состоит его щеголеватый костюм? Кафтан из оливкового баркана, отороченный черным шнурком, с заплатами зеленого бутылочного цвета на локтях; той же материи и того же цвета панталоны, с заплатами цвета биллиардного сукна на коленях. Словом, вы видите на нем тeneвую гамму цветов, самую странную и исполненную диссонансов. Прибавьте к этому кисейную манишку и огромные манжеты, очень чистые, тщательно гофрированные, но с огромными дырами, засаленную веревку, которая когда-то была шелковым галстуком, и род беретта, некогда белого, ныне цвета стен римских зданий, *objet de gout*, привезенный им из дальних странствий, наконец, булавку в манишке из генуэзского коралла и кольцо из лавы на пальце. Это одеяние его маленького корпуса с огромной головой, украшенной щетинистой бородой с проседью, придает ему самый отвратительный вид, а самонадеянное удовольствие, с каким он вертелся перед зеркалом, делало его таким шутком, что я невольно расхохотался.

Мне показалось, что я оскорбил его; он посмотрел на меня грустно, с упреком, и я был так простодушен, что раскаивался в этой обиде. Огорчить человека, который развеселил меня, было неблагодарно с моей стороны. Видя мою простоту, он сказал мне: «Легко смеяться над бедняками, когда ни в чем не знаешь недостатка, когда каждое утро есть из чего выбрать любой галстук». Я понял намек и подарил ему новый галстук. Он сейчас же откинул свое поддельное огорчение и сделался по-прежнему весел.

– Эччеленца, – сказал он мне, – я люблю вас и принимаю искреннее участие в *cavaliere*, который понимает, что такое жизнь. (Это его любимая похвала, таинственная, быть может, глубокая, по его мнению.) Я дам вам добрый совет. Надобно жениться на синьорине. Это я, я говорю вам это.

– Ага, ты хочешь женить меня! На какой же это синьорине?

– На синьорине Медоре, на будущей наследнице их британских сиятельств.

– Так вот в чем дело! Но для чего же именно на ней жениться? Разве ей так уж хочется мужа?

– Не то, но она богата и прекрасна. Ведь красавица, не правда ли?

– Ну, так что же?

– Как что же? В прошлом году, посмотрите, каким женихам она отказала! Молодым людям папской фамилии, сыновьям кардиналов, самым, что ни на есть знатым.

– И ты уверен, что она всем им отказала в ожидании меня?

– Нет, этого я не говорю, но кто знает, что впереди? Ведь вы влюблены в нее; почему знать, что она не влюблена в вас?

– А, так я влюблен в нее? Кто же тебе это сказал?

– Она!

– Как, она тебе это сказала?

– Не мне, а моей сестре Даниелле, это одно и то же.

– Ай да синьорина! Не думал, не гадал о таком счастье!

– Полноте притворяться, меня не проведете! Вы влюблены. Спросите Даниеллу, она вам то же скажет, а она куда как не глупа, моя племянница!

– Ты называл ее сестрою?

– Сестра или племянница, не все ли вам равно? Да вот и она пожаловала.

В самом деле, Даниелла вошла в это время с огромным подносом, на котором под видом утреннего чая стоял полный завтрак.

– Это что такое? – спросил я. – Кто прислал это? Я не намерен быть здесь нахлебником.

– Это не мое дело, – отвечала молодая девушка, – я только исполняю то, что мне приказано.

– Кем приказано?

– Милордом, миледи и синьориной. Извольте кушать, сударь, не то мне достанется.

– А вам достается иногда, Даниелла?

– Да, со вчерашнего дня, – отвечала она с каким-то странным выражением. – Кушайте, кушайте!

Пришел Брюмьер и от души посмеялся над моей совестливостью; он уверяет, что мне нехоти так церемониться. «Ничего нет смешнее, – говорит он, – как восстание мещанской гордости против услужливой щедрости знатных. Эти господа исполняют долг свой и сами себе доставляют удовольствие, лаская и балуя артистов, и на твоём месте я предоставил бы им полную свободу поступать в этом случае, как им заблагорассудится». Приятель мой уверяет, что за то, чтобы снискать такое расположение известной особы из этой семьи, он готов убить целый десяток разбойников, а, пожалуй, в придачу прирезать человека три из честных людей.

Веселость Брюмьера и его шутки очаровали Тарталью и Даниеллу, так что разговор завязался о весьма щекотливых предметах с чрезвычайной искренностью. Я теперь один; дожидаясь лорда Б..., который обещал зайти за мной, чтобы вместе отправиться в город, и от нечего делать передам вам этот разговор как картину нравов. Может быть, мне придется на несколько дней прервать нашу переписку, пока я буду осматривать Рим и переваривать впечатления, которые опрометчиво передаю вам сегодня без проверки, в том виде, как они мне достались. Итак, я воспользуюсь свободным временем, чтобы позвать вашу мысль в тот мир, в который я случайно попал.

Даниелла (*Брюмьеру. Между тем как я расправляюсь с котлетой. Даниелла говорит по-французски бегло, хотя и неправильно*). Я узнала, эччеленца, что вы тоже вздыхаете по синьорине.

Брюмьер. Я тоже? Кто же еще по ней вздыхает?

Ваш слуга (*продолжая есть*). Надобно полагать, что я.

Брюмьер. Предатель! Вы мне ни слова об этом не говорили! Не верьте ему, милая Даниелла, и скажите вашей прекрасной госпоже, чтобы она и не думала об этом. Я, я один вздыхаю о ней.

Даниелла. Вы один! Всего один обожатель на такую красавицу? Она ни за что этому не поверит! Не правда ли, что и вы также, signor Giovanni di val reggio, и вы любите мою госпожу?

Ваш слуга (*все продолжая есть*). Увы, нет! То есть, нет еще!

(*Присутствующие застывают в изумлении.*)

– Cristo! – воскликнул Тарталья в негодовании. – Вы слишком нерассудительны, если не доверяете нам! Вы просто дитя, я говорю вам это!

Даниелла (*с пренебрежением*). Они, может быть, не всмотрелись в синьорину?

Брюмьер (*торжествуя*). Видишь, моя красавица, он и не взглянул на нее!

Ваш слуга. Вы ошибаетесь, я очень хорошо ее видел.

Даниелла (*с удивлением*). И она вам не понравилась?

Ваш слуга (*решительно*). Нет, черт возьми, она мне вовсе не нравится!

Брюмьер (*пожимая мою руку, с комической торжественностью*). Благородное сердце, великодушный друг! Я отплачу тебе за это, сразу же, когда ты полюбишь другую.

Даниелла (*обращаясь к Тарталье и указывая на меня*). Да это шутник (un buffone)!

Тарталья (*пожимая плечами*). Нет, он сумасшедший (matto)!

Даниелла (*обращаясь ко мне*). Прикажете сказать синьорине Медоре, что она вам не нравится?

Тарталья (*перебивая*). Сохрани Бог! Этот господин под моим покровительством. (Он подарил мне галстук, подумал он, вероятно, в эту минуту.)

Брюмьер (*Даниелле*). Вы скажете только, что он влюблен в другую. Вы согласны, Вальрег?

Я (*с видом великодушия*). Я требую этого!

Даниелла. Тем хуже. Я вас предпочитала...

Брюмьер. Кому?

Даниелла. Вам.

Брюмьер. Я вспомнил, душа моя, что я еще ничего тебе не дал. Хочешь получить поцелуй?

Даниелла (*пристально посмотрев на него*). Нет! Вы мне не нравитесь.

Я. Ну а я?

Она. Вы могли бы мне нравиться. У вас должно быть чувствительное сердце. Но вы уже кого-то любите?

Брюмьер. Может быть, меня?

Я. Кто знает? Может и это стать!

Даниелла. Теперь я вижу, что вы никого не любите и только смеетесь над нами. Я скажу это синьорине.

Брюмьер. Разве твоей госпоже очень хочется любви его?

Даниелла. С чего вы это взяли? Она и не думает.

Я. Видишь, милая Даниелла, не должен ли я радоваться, что твоя госпожа мне не приглянулась? Ты мне во сто раз больше нравишься!

Даниелла (*поднимая глаза к небу*). Пречистая Дева! Можно ли так насмехаться?

Я должен сказать вам, что при всем желании произвести эффект моими ответами я отчасти говорил правду, и говорил без всякого намерения, верьте мне, без досады на мисс Медору

и без мыслей о Даниелле. Действительно, я нахожу, что первая слишком самонадеянна, воображая, что я не мог видеть ее без того, чтобы не влюбиться, но она точно хороша, и эти притязания можно отнести к ее ребяческой избалованности. Я охотно ей прощаю; не влюблен я в нее потому, что не чувствую к ней ни малейшей симпатии, что она мне кажется странной, что она слишком занята собой, слишком старается выказать свое героическое мужество и свое пристрастие к Рафаэлю. Полюби я за что-нибудь Даниеллу, от чего меня боже сохрани, потому что она, как мне кажется, слишком уж развязна, – мне скорее пришлось бы по нраву выражение ее лица и тип ее красоты; я говорю красоты, хотя она не более как хорошенькая. Вы сами решите по следующему за сим описанию.

Я желал бы вам показать одну из могучих красавиц Трастеверо или изящных уроженок Альбано, в их живописном костюме, с их царской осанкой, с их скульптурным величием, как вы видели их на картинах. Но ничего подобного я не нашел в Даниелле. Она чистокровная уроженка Фраскати, как уверяют Тарталья и Брюмьер, то есть пригожая женщина, по понятиям француза, скорее чем красавица в итальянском вкусе. Она совершенная брюнетка, довольно бледна; у нее прекрасные глаза, великолепные волосы и зубы; нос недурен, рот немного велик, подбородок слишком короток и выдался вперед. Очертания лица скорее смелы, чем изящны; взгляд страстный, несколько дерзкий: искренность это или бесстыдство, не знаю. Стан у нее прекрасный: тонкий, но не худощавый, гибкий, но не тщедушный. Руки и ноги маленькие, что в Италии, сколько я мог заметить, большая редкость. Она жива, ловка и очень грациозна в танцах. Находясь в услужении у леди Гэрриет более двух лет, она ездила с ними во Францию и в Англию, но, несмотря на приобретенный ею в этих путешествиях некоторый лоск образованности, она сохранила природное высокомерие в улыбке и какую-то дикость в жестах, отзывающуюся деревенщиной и ограниченными, упрямыми понятиями крестьянки. Я не рассмотрел ее в дороге: она была закутана в платок и закрыта шляпкой, которые уродовали ее и в которые она не умела, как должно, нарядиться; но с сегодняшнего утра она оделась в обычный местный костюм, который хотя и не принадлежит к числу красивейших, однако очень ей идет: темное платье с рукавами по локоть, передник, лиф которого прошит китовым усом, служит ей корсетом, и белая кисейная косынка, накинутая на косу и слабо завязанная у подбородка.

Вот портрет красавицы, в которую, как уверяют, я влюблен; впрочем, на этом не конец интриги: я еще буду писать вам о ней.

Только что Даниелла ушла с остатками моего завтрака, Тарталья стал передо мной с торжественным и несколько трагическим видом и сделал мне следующий выговор:

– Берегитесь, месью! (Я открыл, что он называет меня месье, когда недоволен мною, а эпитет эчченца выражает его полное удовольствие.) Берегитесь, сказал он мне, берегитесь прекрасных глаз Даниеллы; она из Фраскати и девушка с родней.

– Что хочешь ты этим сказать?

Брюмьер. Я объясню вам это. Я чуть не попался по милости одной...

Тарталья. Я знаю!

Брюмьер. Что ты знаешь?

Тарталья. Все знаю. Вы не помните меня, но я вас тотчас узнал, еще на пароходе. Года два назад, по обстоятельствам и по неимению лучшего занятия, я держал ослов в Фраскати; вы тогда волочились за Винченцей.

Брюмьер. Правда, но я скоро отказался от нее, увидев, что она с родней, то есть, – продолжал он, обратясь ко мне, – что у нее есть семья в среде местных. Надобно вам сказать, что в некоторых селениях Кампаны, и преимущественно в Фраскати, живет кочующее сословие безземельных крестьян, *contadini*, и оседлое население – ремесленники. Последние не очень расположены к иностранцам, и, как только какой-нибудь турист, живописец, художник без протекции и кредита, приволокнется за девушкой этой касты, ему предлагают или женитьбу, или поединок на ножах. Только ему не дают ножа в руки, а принуждают или жениться, или

бежать. Я избрал последнее и вам советую сделать то же, если вам придется иметь дело в Фраскати с девушкой, наделенной Провидением многочисленной родней. У Винченцы было, помнится, двадцать три двоюродных брата.

Я (*обращаясь к Тарталье*). А так как ты называешь себя родственником Даниеллы, то, следовательно, предупреждаешь меня и пугаешь заранее. Знаешь, меня берет охота полюбезничать с нею.

Тарталья. Нет, эччеленца, я ей не родственник и не обожатель. Я не из Фраскати, я римлянин! Даниелла девушка добрая; она выдала меня здесь за родственника, чтобы снискать мне тем расположение миледи. Невинная ложь иногда доброе дело. Но говорю вам, эччеленца, не думайте об этой девочке, если бы вам и никогда не пришлось быть в Фраскати.

Брюмьер. Так она...

Тарталья. Нет, нет, ничего дурного, она добрая девушка, эччеленца, я говорю вам, добрая! Но что же она? Так, ничего! – и, отводя меня в сторону, прибавил:

– Смотрите выше; заставьте наследницу полюбить вас, я вам говорю это.

– Оставь нас в покое с твоей наследницей и твоими советами. Ты надоел нам своей болтовней.

– К вашим услугам, месью, всегда, когда угодно, – сказал он, скривив рот в недовольную улыбку и уходя с подаренным галстуком.

– Не сердите его, – сказал мне Брюмьер, когда мы остались одни. – Эти мошенники или полезны, или опасны – середины нет. Как только вы приняли от них какую-нибудь услугу, хотя бы и хорошо за нее заплатили, даже тем хуже, если заплатили хорошо, вы уже принадлежите им телом и душой, вы становитесь их другом, то есть их жертвой. Не думайте отвязаться от них, пока вы в Риме и его окрестностях. Если же они имеют важные причины следить и наблюдать за вами, то, где бы вы ни были в целой Италии, эти мошенники повсюду как из земли вырастают, как только они узнали или вообразили, что уже знают ваш характер, ваши склонности, ваши нужды или ваши страсти, они принимаются их разрабатывать. Вы, кажется, мне не верите? Сами увидите! Я погляжу, что будет при первом вашем здесь волокитстве. Будь это ночью, в глубине катакомб, под тройным замком, все равно, – Тарталья вас не покинет, всюду будет следовать за вами по пятам и, верьте мне, так устроит дела, что вы вечно будете в нем нуждаться. Впрочем, не огорчайтесь. Если эта непрошенная услужливость домового иногда сердит, она не без удобств, и лучше всего принять ее без обиняков. Эти люди имеют все достоинства своего ремесла: они так же скромно хранят ваши тайны, как нескромно выведывают их. Они знают все; у них тонкий, проницательный, а если нужно, и приятный ум. Они подают вам бесчестные советы в угоду вашим страстям, но подают и добрые для вашей безопасности. Они предупреждают вас от всякой опасности и охраняют вас от тяжких уроков жизни. Их все знают, все пользуются их услугами, все шадят их. Как только вы пообживетесь здесь, вы многое узнаете и удивитесь, до какой степени в этой классической земле барства бес сводит в таинственное короткое знакомство людей, стоящих на противоположных концах общественной лестницы. Вспомните, что Рим страна свободы, по преимуществу – свободы делать зло! Так ведется здесь более двух тысяч лет.

– Я верю словам вашим, видя, что такой бродяга, как Тарталья, завладел этим домом и этой семьей как доверенный человек. А между тем мы – у англичан, которые должны бы, кажется, чувствовать омерзение к таким образчикам местных нравов.

– В англичанах появляется удивительная терпимость, как только они выберутся на чужбину. Путешествие для них – разгул воображения, отдых от угрюмой строгости домашних обычаев. Наши знакомые уже не в первый раз в Италии, и если я не встречал их прежде в Риме, так, вероятно, потому, что бывал здесь не в одно с ними время, или что они были незаметны, пока с ними не было хорошенькой племянницы. Я очень хорошо вижу, что лорд Б... здесь не новичок, и, когда он так дружески обошелся вчера с Тартальей, я сразу догадался, что леди

Б... ревнива и что милорду часто нужен разведчик, или посредник, или страж. Может быть, Тарталья служит в одно и то же время шпионом жене и поверенным мужу; но ручаюсь вам, что в таком случае он исполняет требования обоих и не изменяет ни одному; его дело жить их милостями и жить не работая; эту задачу решает по-своему каждый из римских пролетариев.

– Итак, они отказываются из гордости быть слугами, а по призванию каждый из них...

– Пособник интриг. Те, которые не занимаются этим, вынуждены красть или просить милостыню. Многие из них, если не по призванию, так по необходимости, живут пороками знатных. Чем прикажете заниматься народу, у которого нет ни торговли, ни промышленности, ни земледелия, ни сношений с остальным человечеством? Ему поневоле приходится, как чужающему растению, сосать сок больших деревьев, которые заглушают приземистые растения своей тенью. Это огорчает вас или возбуждает в вас негодование? Что же делать? На то здесь Рим, чудо света, вечный город сатаны, всемирный пир, на который и мы, чужаждане, в свою очередь, стекаемся искать, смотря по способностям, искусства, таинственности, богатства или наслаждений. Доброму сыну наука! Не затевайте только соблазнительных проделок, и все пойдет своей чередой. Что до меня, то лишь бы вы не предъявили претензии на сердце мисс Медоры, я готов помогать вам во всяком честном предприятии и простить вам всякое приятное приключение. Засим, я отправляюсь отыскивать *il signor Tartaglia*; мне кажется, что бездельник оказывает вам предпочтение; это меня беспокоит, и я намерен похлопотать, чтобы он, с помощью Даниеллы, подцветил меня в глазах небесной Медоры. Кстати, – промолвил он, оставляя меня, – позвольте мне в первый же раз, как я буду здесь обедать, обмолвиться моей принцессе, что вам приглянулась – не бойтесь, я вас не скомпрометирую, я знаю, как должно говорить с англичанами – ее хорошенькая горничная.

– Скажите, что это прихоть художника!

– Именно так! *Une Tosade!* Этого будет довольно, чтобы поселить в ней глубочайшее к вам презрение. До завтра. Я зайду за вами, чтобы показать вам главнейшие пункты города. Но предупреждаю вас, надобно год времени, чтобы осмотреть все их детали. *Addio!*

Я слышу голос лорда Б..., который идет за мною. Он обещал мне переслать мои письма во Францию, через английскую миссию, так что они не попадутся в руки папской полиции, которая, пожалуй, их совсем не пропустит.

Глава VIII

Рим, 24 марта 185...

Я думаю, что недолго здесь пробуду; я ослаб, мною овладело уныние, смертная тоска. Рим ли тому виной, или недуг во мне самом – не знаю. Наши ежедневные с вами разговоры отрывали меня от размышлений, относящихся исключительно к моей личности, и в эти минуты я жил вне моего сплина. Примусь опять за нашу переписку, даже если мне и не доведется отправить все мои письма.

Но я должен прогуляться с вами по этому кладбищу, несравненно более просторному, но в тысячу раз менее величественному, чем Пиза. Я должен показать вам Рим таким, каким он мне показался; не пеняйте, если придется разочаровать вас.

Откуда начать? – С Колизея. Вы знаете все памятники Италии по картинам, гравюрам и фотографиям. Я не буду вам описывать ни одного, передам вам только мои впечатления. Этот амфитеатр, хотя гораздо обширнее нимского и арльского, которые я видел в детстве, не так поразителен, как те. Здесь не уцелело уступов с местами для зрителей, а они-то именно и придают обширным аренам древности тот величественный характер, что помогает нашему воображению воссоздавать грозные события прошедшего. Здесь вы видите громадный остов верхних сооружений, и вы не разгадали бы их предназначения, если бы не знали его наперед. Кругом здания внутри идет путь креста, то есть ряд маленьких часовен, однообразных и совершенно обнаженных, яркий белый цвет которых бросается в глаза среди потемневших развалин. Между часовнями устроены дощатые подмости, похожие на товарные прилавки на ярмарках; с этих эстрад капучины говорят свои проповеди во время поста.

Эти скудные пристройки искажают величественный вид развалин, но они освящены верой и, вероятно, переживут самый Колизей.

– Пойдем, – сказал мне лорд Б..., который взялся быть моим проводником, – это ничего больше как огромная груда камней.

Он почти прав.

Форум, храмы, весь этот ряд великолепных развалин, вдоль Campo Vaccino, от Капитолия до Колизея, имеет существенный интерес только для антикваров. Одни триумфальные арки неплохо сохранились, так что заслуживают названия памятников. Нельзя, однако же, без восхищения смотреть на эти кости огромного трупы, которые повествуют его былую жизнь, его деяния. Восстановленные и лежащие в прахе обломки или изящны, или огромны, или хранят на себе следы несметных богатств. То, что устояло, резко отличается своим величием от позднейших зданий, пристроенных к древним или находящихся вблизи, в особенности от сооружений новейших времен, как, например, здание Капитолия – очень красивое, но слишком небольшое для своего основания. Исключая несомненный исторический интерес этих остатков древности, невольно спросишь себя, почему эти развалины не производят более серьезного впечатления на обыкновенных смертных, как ваш покорный слуга? Почему он ощущает при виде их не внезапный восторг, а тоскливое чувство сожаления? Почему должен он сделать значительное усилие, чтобы представить себе призрак прошедшего, носящийся над этими следами времени, еще многозначительными, над этими еще четкими преданиями старины? Причина, по-моему, самая простая: потому, что эти развалины не на своем месте, не в середине города. Чем прекраснее они, тем безобразнее становится все, что их окружает, все, что не развалина. Между жизнью и смертью нет связи, нет перехода. Жизнь сглаживает следы смерти, как смерть стирает следы жизни. Здесь, в Риме, невольно рождается вопрос: существует ли еще Рим, или он только существовал? Я не вижу здесь ни того ни другого. Прежнего Рима не осталось настолько, чтобы он подавил меня своим величием. Настоящего Рима слишком мало, чтобы затмить память о прежнем, и слишком много, чтобы прежний был виден. Я знаю, что

невозможно восстановить древний Рим, но во мне зародилась мысль, мне мерещится видение и, по моему плану, кажется, все могло бы устроиться: уничтожить новый Рим и перенести его на другое место. Можно оставить на месте его дворцы, его храмы, его обелиски, статуи, фонтаны и его громадные лестницы, а на место безобразных улиц и отвратительных домов насадить красивые деревья, развести роскошные цветники и сгруппировать их так искусно, чтобы они отделяли один от другого памятники различных эпох, не заслоняя их. Но прежде, чем приступить к насаждениям, нужно произвести тщательные поиски на этом обширном пространстве земли, и я уверен, что эти раскопки дали бы нам столько же богатств древности, сколько мы видим их теперь поверх земли. О, тогда здесь был бы прекрасный сад, великолепный храм, посвященный гению веков, Рим нашей детской грезы, музей вселенной!

Что касается населения, переведите его только в здоровую местность и верьте, что оно не будет жаловаться. Оно не станет жалеть об атмосфере, в которой таеет его жизнь, и об этой отчизне вредных миазмов, которые его теперь окружают.

Вылечить теперешний Рим от его эпидемических болезней труднее, чем осуществить мою мечту.

Возвращаясь к тому, что у меня перед глазами, я повторяю, что памятники здесь худо размещены в отношении к окружающей раме безобразных строений, нищенских и поразительно некрасивых. И, к несчастью, невозможно ничего высвободить из хлама этих несчастных мелочей иначе, как чрезвычайными мерами, с большими издержками, огромными средствами и, следовательно, великими замыслами. Не заходя так далеко, как зашел я сию минуту (мне это ничего не стоило!), обширные работы разрушения и восстановления, в которых подвизается теперь городское управление Парижа, встретились бы здесь с грандиозными элементами и великолепными мечтами, не говорю уже о необходимости мер для народного здоровья, которых жаждут жители, гибнущие от лихорадки, даже в частях города, славящихся свободным обращением воздуха и своей опрятностью.

Если бы вы знали, в чем состоит очистка города, в котором на углу каждой улицы вы увидите то, что здесь называют *immondiziario* (вместилище нечистот), часто украшенное каким-нибудь любопытным древним фрагментом, безымянным торсом или колоссальной ногой! Сюда сваливают в кучу всевозможные нечистоты. Здесь же хоронят и дохлых собак под грудами капустных кочерыжек и разной другой дряни, которой я не назову. Так как улицы узки, а скопление нечистот значительно, то нередко приходится или возвращаться назад, или брести по колено в этой мерзости. Прибавьте к этому милую бесцеремонность римской черни, которая, где бы ни была, на ступенях ли дворца или церкви, даже под метлами разгневанных стражей, на глазах женщин и священников, преспокойно усаживается на корточки, с римским величием и древним цинизмом, с сигарой в зубах или распевая между делом во все горло. Невольно подумаешь, как это поэты-созерцатели, о которых я недавно говорил вам, плакали над развалинами и садились на обломки колонн, не задыхаясь от вони, потому что священные развалины осквернены не менее многолюдных улиц и публичных площадей. Намедни я видел, как прекрасная Медора, под руку с приятелем Брюмьером, с приподнятыми взорами на фронтон церкви Санта-Мария-Маджоре, волокла по этой нечистоте подол своего шелкового платья и шитые фестоны своей необъятной юбки... Я расхохотался как сумасшедший и с тех пор не могу себе представить этой романтической красавицы иначе как с загрязненным подолом и чувствую, что никогда не влюблюсь в нее.

Простите мне, что я сочетал в вашей мысли образ Рима с возмутительной непристойностью его обычаев и устоев, но это самая характерная черта, которая одним разом дает вам ключ к физиономии целого. Совершенное забвение всякой стыдливости, отсутствие обуздания, самоуверенная беззаботность прохожих, лихорадка и смерть, парящие над городом, несмотря на проливной дождь святой воды, – все это объясняет многое, и нечему удивляться, что столько лачужек настроено из камней священных зданий, что грязные лохмотья висят на

барельефах, врезанных во все стены, что в нравственном мире, проявляемом этой внешностью, гнездится столько низких пороков, тщетно омываемых очистительной водой, и что много природных добродетелей раздавлены здесь ужасающей нищетой.

От нравственного уныния, в которое погрузило меня первое впечатление, я освободился посреди терм Каракаллы. Это грандиозная развалина колоссальных размеров, развалина, стоящая отдельно, безмолвная и почитаемая. Здесь вы чувствуете все ужасающее могущество цезарей и видите прихотливую роскошь нации, упоенной всемирным владычеством.

Но что, на мой личный вкус, лучше всего, что я здесь видел, чему нет подобного на белом свете, – это вид при пасмурном, красноватом небе на Via Appia (Аппиеву дорогу), на эту дорогу гробниц, о которой менее, чем обо всем другом, говорят в книгах и которой я не видал на картинах. Я думаю, что все это недавно еще открыто и еще не вдоволь орошено следами поэтов. Я вижу, что раскопки продолжаются, каждый день отрывают новые гробницы. Эффект этой узкой, но неизмеримой перспективы надгробных развалин ни с чем не может сравниться. Это дорога, уставленная с обеих сторон, без промежутков, древними памятниками всех форм и всех размеров, без нарушения общей гармонии в расстановке и с избытком невыразимо прекрасных обломков. Все эти обломки добыты из-под земли, где они были рассеяны в беспорядке. Гробницы восстановлены довольно хорошо, так что каждая из них имеет свой смысл, свою физиономию, и на многих сохранились надписи торжественные или шуточные. Эта дорога тянется вдоль римской Кампаньи более чем на целую милю. Если поиски продолжатся, быть может, откроют всю эту древнюю погребальную дорогу, простиравшуюся вплоть до Капуи.

Мостовая из базальта, по которой вы идете, во многих местах та же, что была на древней дороге; колеса теперешних экипажей идут по колеям, выбитым колесницами. По обеим сторонам этой дороги, которая пролегает по прямой линии через римскую Кампанью до Альбано, вы видите в степи двойные и тройные линии монументальных водопроводов, местами разрушенных и оставленных, что придает новую прелесть картине и отчасти доставляет новую пищу местным болезням. Воспоминания роятся на каждом шагу. Здесь гробница Сенеки^[24], там поле битвы Горациев^[25], храм Геркулеса, цирк Ромула и прекрасно сохранившийся величественный памятник – великолепный мавзолей Цецилии Метеллы. Но я – бедный живописец и говорю вам только о том, что бросается в глаза. Все прекрасно, все величаво, ярко и еще более странно на этой Via Appia; на всем лежит печать запустения, которого не нарушает ни одно сооружение новейших времен, никакая будничная случайность.

Я пал еще ниже в мнении мисс Медоры, рассказав ей после прогулки с лордом Б..., что самое сильное впечатление в продолжение этого дня произвела на меня следующая картина.

Тарталья, что помимо нашей воли следует за нами повсюду и, несмотря на запрещение вступать с нами в разговоры, умеет заставить нас исполнять его желания, завел нас к отвратительному отверстию сточной трубы, проведенной под садами, в каком-то совершенно деревенском углу Велабра; должен вам сказать, что Рим на каждом шагу представляет то древние развалины, то христианский город, то квартал *pobile* (аристократический), то деревню. Мы сошли по грязной дорожке и видели, как какой-то человек скидывал в зловонную яму дохлых животных, которыми была наполнена его тележка. Эта бездонная пропасть называется Слюаса *тахита*, она существует более двух тысяч лет. Цель этого сооружения – очищение города; оно так прочно сложено из огромных камней травертинского или вулканического туфа, что и до сих пор туда сходит вода из канав этой части города, а оттуда уже стекает в Тибр. Но я думаю, что полиция не слишком заботится об этом месте, и потому оно теперь до половины завалено разным сором и нечистотами: мертвую лошадь ведь легче бросить туда, чем зарывать в землю.

Лорд Б..., ужасно утомленный древностями, осыпал бранью Тарталью, когда мы, возвращаясь, увидели достопримечательность, ускользнувшую прежде от нашего внимания: место,

высеченное в туфе, где в глубине небольшой черной пещеры течет Aqua argentina (серебряная вода), светлая кристальная струя, происхождение которой неизвестно. Эта чистая вода, столь драгоценная в городе, где вода вообще нездорова, оставлена на произвол первой пришедшей туда прачки. Когда мы проходили, там была уже прачка, которой я никогда не забуду. Одна в этой пещере, высокая, тощая, не без следов былой красоты, отвратительно грязная, одетая в рубище земляного цвета, с черными, еще не поседевшими волосами, распущенными по нагой груди, отвисшей, как у престарелой эвмениды^[26]; она стирала белье, колотила и, выжимая, крутила его с каким-то ожесточением, напомиравшим мне галльские предания о фантастических ночных прачках. Это была римлянка или, скорее, латинка. Она пела неслыханную песню высоким, гнусливым и жалобным голосом, на особом наречии; я разобрал только часто повторяемые рифмы: *mag, amag*. Меня бы очень огорчило, если бы Тарталья вздумал мне перевести остальное или сказал бы мне, что это за наречие. Иногда невольно чувствуешь в себе необходимость чтить таинственность некоторых ощущений. Мне также не приходило в голову сделать рисунок этой развенчанной пифии^[27], которая будто выросла там из земли и ударяла в такт по воде и пробовала свой хриплый голос, пролежав две или три тысячи лет под римскими развалинами. Нет, не я скажу теперь эту классическую формулу, которую мы часто встречаем в романах: «Эту сцену может изобразить только кисть великого художника». Нет, здесь нужно было только видеть, слышать и помнить. Есть вещи, которые нельзя уловить никаким материальным способом, только душа овладевает ими. Хотел бы я видеть, как самый искусный музыкант изобразил бы знаками то, что пела старая сивилла. Это была песнь без ритма; в ней не было ни одного тона, который подходил бы под наши музыкальные правила. И между тем она пела не наобум и пела не фальшиво, по своей методе; я долго слушал ее и слышал, как в каждом новом куплете повторялись те же модуляции и под ту же меру. Но как это было странно, мрачно, погребально. Может быть, эта тема – предание столь же древнее, как *Cloaca maxima*. Может быть, так пели первобытные латины, и, кто знает, не понравилось ли бы нам это, если бы слух наш, сбитый с толку неизменной системой звуков, мог допустить эту систему тонов или, по крайней мере, понять ее?

Вот как могу я объяснить вам овладевшее мною волнение, которое лорд Б... просил меня потом передать словами его дорогой племяннице. Я не мог ничего растолковать ей. Я отделился шутками, и между нами произошла маленькая неприятность, к вящему удовольствию Брюмьера, который пил с нами чай и толкал меня локтем, чтобы поощрить меня каждый раз, как мне представлялся случай опротиветь предмету его обожания.

Глава VIII

(Продолжение)

Я довольно поводил вас сегодня по могилам. Мы еще возвратимся к ним; здесь трудно из них выбраться, но сегодня побеседуем о живых.

Мисс Медора твердо убеждена теперь, что я имею решительное отвращение ко всему прекрасному, и я вижу из слов ее, что Тарталья с помощью Даниеллы устроил дела моего приятеля. Синьорина уже знает, что я равнодушен к ее непреодолимым прелестям и что более восхищаюсь красотой наперсницы, которая и сама, кажется, начинает верить моей любви, видя, что я не перестаю осыпать ее комплиментами. Брюмьер не дремлет и питается надеждами, такими же, по-видимому, неосновательными, как те, которыми Тарталья угощает меня. Это положение дел довольно интересно и могло бы забавлять меня, если б я мог свалить с себя ледяной гнет, которым подавлен мой ум с тех пор, как я в Риме.

Однако моя тоска не дает мне права наскучить вам. Передам вам разговор, слышанный мною третьего дня; он может служить продолжением того, который я подслушал в Марселе, за обедом на берегу моря. Кажется, судьба старательно заботится о том, чтобы я узнавал чужие тайны. Не думайте, однако, что я нарочно подслушиваю у дверей и перегородок; вот как это случилось.

Чтобы вы лучше поняли меня, я должен описать вам расположение моей квартиры.

В Италии, в больших дворцах, часто бывает, что в одном и том же доме, что этаж, то владелец. Так и в том доме, где я живу, внутренность верхнего этажа совершенно отделена от внутренности нижнего, и между ними нет никакого сообщения. Когда я хожу обедать к лорду Б..., я должен сойти на улицу и войти к ним другим входом, устроенным на противоположном фасаде здания.

Но это разобщение этажей сделано не при постройке дома, а впоследствии, и я нашел в своей комнате дверь на лестницу, которая ведет к нижнему глухому коридору. Это, по-видимому, был когда-то внутренний проход из одного этажа в другой. Я осмотрел эту лестницу в день моего новоселья и, видя, что она ведет к глухой каменной стене, я оставил это без внимания.

Третьего дня, часу в шестом, возвратясь домой, чтобы переодеться и идти обедать к леди Гэрриет, которая раз по семи каждое утро присылает мне сказать, что она надеется видеть меня у себя вечером, я был очень удивлен, увидя, что дверь на эту лестницу растворена и что замечательный испанский берет синьора Тартальи красуется на первой ступеньке; он стоял тогда на половине лестницы, и мне виден был один головной убор этого чудака. Я кликнул его, он не отвечал. Слыша, что кто-то шевелится внизу, я сошел туда впотьмах. Когда я дошел до последней ступени, невидимая рука упала мне на плечо.

– Что ты здесь делаешь, бездельник? – спросил я, узнавая по приему Тарталью.

– Тс... тише, – прошептал он таинственно, – слушайте, она говорит про вас.

И, взяв за руку, он прислонил меня к передней стене. Я в самом деле услышал свое имя.

Это был голос мисс Медоры, доходивший до меня, как в слуховой рожок.

– Ты бредишь, – говорила она, – ты ему совсем не нравишься. Он кокетничает со мною, показывая, что...

Даниелла прервала свою мисс громким смехом.

Мне не следовало бы слушать далее, я согласен; но в этом случае, как наперед угадал Брюмьер, я невольно подчинился демонскому влиянию мошенника Тартальи. Трудно, впро-

чем, поверить, чтобы человек моих лет, каким бы степенным ни сделала его судьба, мог противиться искушению подслушать разговор о нем двух хорошеньких женщин.

Медора, в свою очередь, прервала смех фраскатанки строгим замечанием.

– Вы с ума сошли, – сказала она, – берегитесь! Я не стану держать при себе девушки, которая будет искать соблазнительных приключений.

– А что ваша милость называет «соблазнительными приключениями»? – живо возразила Даниелла. – Что в том дурного, если такой молодец и полюбит меня? Он не знатен, не богат, и скорее по плечу мне, чем вашей милости.

Мисс Медора начала читать нравоучения своей горничной, объясняя ей, что человек «с моим положением в свете», образованный, каким я кажусь, не может иметь серьезных видов на гризетку, на una artigiana из Фраскати, что она была бы обманута, покинута и что за минуту удовлетворенного тщеславия ей пришлось бы поплатиться годами раскаяния.

Даниелла, кажется, неспособна была предаться безвыходному отчаянию; она отвечала решительным тоном:

– Позвольте мне судить обо всем этом по-своему и прогоните меня, синьора, если я буду дурно вести себя. Остальное же вас не касается, и любовь этого молодого человека ко мне должна бы, кажется, только забавлять вас, потому что он вам противен еще более, чем вы ему.

Разговор продолжался в этом тоне несколько минут, но вдруг из спокойно-колкого он превратился в шумный. Мисс Медора жаловалась, что она дурно причесана (кажется, Даниелла причесывала ее в это время); и как ни уверяла горничная, что она лучше не умеет и причесала барышню так же хорошо, как всегда, мисс Медора разгневалась, упрекала ее, что она с умыслом это делает, и, кажется, распустив волосы, приказала начать снова. Даниелла, вероятно, заплакала, потому что барышня спросила: «О чем ты плачешь, глупая?» – «Вы меня более не любите, – отвечала она, – нет, с тех пор, как этот молодой человек живет здесь, вы совсем изменились: вы все досаждаете на меня, и я очень хорошо вижу, что вы его любите».

– Если бы я не видела, что вы сумасшедшая дикарка, – отвечала разгневанная англичанка, – я прогнала бы вас за дерзости, которые вы осмеливаетесь говорить мне на каждом шагу; но я очень хорошо вижу, что вы совершенно дикая. Подайте мне платье!

Стук захлопнутой двери прервал этот разговор и положил конец греху моего непростибельного любопытства. Отыскивая в потемках лестницу, я столкнулся с Тартальей, который все время простоял возле меня и, вероятно, не упустил ни одного слова из слышанного мною разговора. Я было и забыл о нем. «Но зачем ты, несносный шпион, – сказал я ему, – зачем ты забрался сюда и как смеешь подслушивать тайны семейства, которое приютило тебя и дает тебе твой насущный хлеб?» – «В этом мы оба не без греха», – отвечал мне бесстыдный мошенник.

«Поделом мне», – подумал я, и, чтобы не подражать двум девицам, которых мы подслушивали, я поберег ответ до другого случая.

– Прежде чем уйдете отсюда, – сказал он мне с неисправимой в нем всегдашней фамильярностью, – потрудитесь полюбоваться прекрасным изобретением.

Шмыгнув о стену фосфорной спичкой, которая нас внезапно осветила, он показал мне в стене небольшое отверстие, как бы от выпавшего кирпича. Я всмотрелся, но не увидел ни малейшего луча света.

– Здесь нечего видеть, – сказал мне этот чичероне семейных секретов. – Это отверстие извивается в стене и устроено не для того, чтобы подсматривать, а чтобы подслушивать. Это вроде «Дионисиева уха».

– Это твоя выдумка?

– Куда мне! Я еще не родился, когда изобретатель этого умер. Это сделал один кардинал из ревности к своей невестке, которая...

Я не охотник до скандальных рассказов Тартальи и ушел в свою комнату. Тарталья набожен, а между тем рассказывает такие соблазнительные вещи о кардиналах, что я начинаю его опасаться; он слишком много болтает для обычного шпиона.

– Месью, месью, – воскликнул он, когда я затворил за собой дверь лестницы, обещая надавать ему пинков, если когда-либо опять поймаю его, – вы не сделаете этого! Я римлянин; к тому же вы не то, что Медора, которая притворяется равнодушной, когда сердится; вы сердитесь, чтобы скрыть свое удовольствие. Наконец-то вы убедились, что я говорил правду. Вы видите, что она вас любит! Поверьте, я никогда не ошибусь. Теперь смелее, эччеленца! Подслушивая почаще здесь, вы будете знать, что предпринять, а принялись вы за дело, как я вижу, отменно хорошо. Вы возбуждаете досаду, чтобы возбудить страсть. Мастер, нечего сказать; я доволен вами. Смотрите же, когда будете милордом, вспомните и обо мне грешном. – Сказав это, он вышел, очень довольный собой.

За обедом, как только мы уселись, я начал хвалить прическу мисс Медоры. Я был, как вы видите, в предательском расположении духа, но сказать правду, у Даниеллы прекрасный вкус, и она много помогает госпоже своей в ее победах над сердцами. «Бедная девушка, – подумал я, – у нее у самой прекрасные волосы, ее собственные волосы, более собственные, чем у мисс Медоры, а их и не увидишь, если не съедет немножко белый головной платок».

В разговоре, который я слышал, бедная Даниелла была вызвана на ссору и она же была унижена, оскорблена. Не возмутительно ли для молодой девушки сторониться, исчезать, чтобы давать место другой, и посвящать жизнь свою для украшения идола, забывая о самой себе? И за то, что эта смиренная жрица осмелилась верить моей хвале, разгневанная богиня хотела изгнать ее из своего святилища.

– Да, – говорил я Медоре. – Я никогда не видел, чтобы вы были так хорошо причесаны.

– Вы так думаете? – спросила она тоном женщины, которая ставит себя выше этих мелочей. – Я всегда причесываюсь сама и всегда в минуту готова.

– Неужели? Вы искусны, как фея, и имеете вкус художника.

Мы были одни, она воспользовалась этим, чтобы со мной пококлетничать, и не очень искусно, как, кажется, всегда бывает с англичанками, если они за это примутся.

– Что вы так пристально на меня смотрите? Я вовсе не красавица на ваш вкус.

– Это правда, – отвечал я смеясь, – вы не хороши собою, но все-таки прекрасно причесаны, и я завидую вашему искусству.

– Это с какой стати, разве вы хотите заплетать и взбивать свои волосы?

– Я хотел бы на всякий случай знать, как научить этому натурщицу. Позвольте мне взглянуть поближе?

– Да смотрите внимательнее и научите вашу прачку «Серебряного ключа» (Aqua argentina) причесываться по-моему. Что вы делаете? Вы дотрагиваетесь до моих волос? Знаете ли, что у англичанки и волоска нельзя тронуть?

– Но я имею на это право. Вы как думаете?

– Право, это почему? Скажите, пожалуйста.

– Потому что я возле вас совершенно спокоен и равнодушен. Я один в целом свете так глуп; я один не могу ничем ни потревожить, ни оскорбить вас.

Надобно вам сказать, что, дотронувшись до ее косы, я почувствовал разницу между прядями своих и накладных волос и уже с уверенностью прибавил:

– Может ли женщина, у которой не было бы такого обилия волос, причесаться, как вы?

– Почем я знаю, – отвечала она отрывисто, бросив на меня взгляд, полный ненависти, в котором я прочел: «Так ты знаешь, что у меня подвязная коса; Даниелла тебе это рассказала или причесала меня так, что подлог слишком явен для всех».

Спустя минуту она вышла и, когда возвратилась, я заметил, что прическа уже поправлена. Я раскаялся в своих словах; они, вероятно, стоили новых слез бедной Даниелле.

Судьба бросила меня как яблоко раздора между этими женщинами. Я должен перестать дразнить одну из них. Кажется, я не в долгу у Брюмьера и добросовестно упрочил за собой антипатию Медоры. Правда, дерзкие ответы служанки во многом помогли мне в этом. Но довольно, далее идти не следует, если я не хочу накликать бурю на бедную Даниеллу.

Знаете ли, что я привязался к самому нелюбезному существу этого дома? Я говорю не о несчастном Буфало, который в самом деле очень понятлив и, право, умеет жить в свете, но о настоящей паршивой собаке семейства, о лорде Б..., «о прозаическом, ограниченном, пошлом невеже, о пустом человеке, без ума и без сердца». Таково теперь решительное мнение леди Гэрриет о том, кого она так горячо некогда любила, любила до безумия, до чахотки. Когда я гляжу на эту коротенькую и толстенькую фигурку, так удачно исцелившуюся от любовной чахотки, такую еще свежую в своей осенней поре и такую любезную, когда она забывает плакаться на посредственность своего мужа, я невольно прихожу в ужас при мысли о любви. Неужели передо мной одна из неизбежных реакций сильных страстей, и неужели человек горячо любимый должен непременно ожидать этого презрения, которое леди Б... едва может скрывать, и то лишь благодаря своему умению жить в свете, – презрения, которое точит ее гордость, как медленный яд? Это бы еще ничего, и вы скажете мне, что и в таком случае я еще немного рискую, внушая сильные страсти. Я сам так же думаю; но если в недобрый час мною самим овладеет страсть и если я соединюсь неразрывными узами с обожаемой женщиной, неужели и мне придется со временем испытывать сердечную муку такого разочарования, какое я вижу в леди Б...?

Всего вернее то, что леди Б... ошибается и насчет своего мужа, и насчет самой себя. Лорд Б... имеет несомненное преимущество перед нею в положительных достоинствах. У него нет ни большого ума, ни больших познаний, но и того и другого более, чем у нее. Характер у лорда Б... прекрасный: в нем есть такая прямота, такая искренность, такая нравственная чистота, так много философии и великодушия как по увлечению, так и сознательного. Эти достоинства далеко оставляют за собой врожденную кротость, беззаботную щедрость и испуганную, слезливую чувствительность миледи. Впрочем, оба они честные, добрые люди, но муж имеет все существенные достоинства мужчины, а жена лишь самые обыкновенные нравственные прикрасы женщины. Леди Гэрриет – тип, всюду встречаемый; лорд Б... – редкая своеобразность, в тесном кругу семейных добродетелей – образцовое явление.

Мне кажется также, что эти два уязвленные сердца ненавидят друг друга, и, проклиная ежедневно соединяющие их узы, они не могли бы видеть без сожаления и ужаса расторжение этой связи. Где же источник разочарования жены и уныния мужа? Может быть, причина таится в их неверной оценке внешнего мира: муж слишком им пренебрегает, жена слишком дорожит им. Но пренебрежение лорда происходит от избытка скромности, а пристрастие миледи – от суетного тщеславия. И вот весь быт семейства навсегда возмущен; две жизни искажены и обессилены, потому что у жены недостает здравого смысла, а у мужа – самонадеянности!..

Мы скоро договорились до этой тайной язвы с лордом Б..., он не умеет скрывать ее, она слишком давно докучает ему! Может быть, природа не дала ему довольно энергии. Я сказал ему, что подслушал разговор его с флотским офицером и решил никому не говорить об этом, еще и не предвидя, что мы будем в коротких отношениях. Он очень благодарил меня за эту деликатность, не догадываясь, что скромность моя ничем ему не поможет. Кто видит его болезненную грусть, его задумчивость, иногда язвительно-насмешливую, когда он бывает с женой, тот легко разгадает тайну, которую я узнал, разве только с большими подробностями. Я позволил себе сказать ему это; он опять благодарил меня за мою откровенность и обещал остерегаться; но у леди Гэрриет бывают часто проблески сдержанного негодования, вздохи сожаления и другие внешние выражения внутренних ощущений, оскорбительные для мужа, и я боюсь, что советы мои останутся бесполезными. К тому же, они оба так, кажется, привыкли

быть недовольными друг другом, что умерли бы с тоски и не знали бы что делать, если бы между ними восстановилось согласие.

Прекрасная Медора должна бы, кажется, быть точкой соединения между супругами, но вряд ли она когда-либо подумала об этом. Она, кажется, очень легкомысленна, хотя с виду так степенна и серьезна. Воспитанная на большой дороге матерью-путешественницей, потом сирота, переходившая из рук в руки в кругу своих родственников, она, как только достигла совершеннолетия (ей теперь, должно быть, лет двадцать пять), избрала себе дуэньей тетку свою, леди Гэрриет. Это предпочтение объясняется, может быть, сходством склонностей и привычек: любовью к нарядам, к лени и к наружному блеску во всем без исключения. Они называют это отличительными склонностями артистов. Сверх того, молодая племянница поддакивала всегда тетушке в ее жалобах и обидных насмешках над бедным мужем. Лорду Б... это очень неприятно, но он смиренно все переносит.

– Она удвоила, – говорит он, – итог выпадавших на мою долю порицаний, внося в капитал свою часть неодобрительных замечаний на мой счет; но, с другой стороны, она облегчила мои страдания тем, что часто умеет рассмешить леди Гэрриет. Они почти всегда смеются надо мной, а когда она смеется, она обезоружена, и если в это время презирает меня более, зато менее беспокоит.

Мы выкинули из дневника Жана Вальрега несколько глав, которые намереваемся издать особо. Путевые впечатления слишком преобладают в них над драмой его жизни. В предлагаемом нами выборе мы старались восстановить равновесие, о котором он не заботился, когда писал к нам свои письма.

Мы не последуем за ним ни в музеи, ни в храмы, ни во дворцы вечного города и схватим прерванную нить нашего рассказа с той поры, как молодой артист переехал во Фраскати.

Глава IX

Фраскати, 31 марта

Я думаю, что я порядочно надоел вам моим сплином в последние дни. Отвращение мое к Риму довело меня до болезни: я пролежал несколько дней. С тех пор как я переехал во Фраскати, мне лучше.

Я простудился в Тиволи, и это было главной причиной моей болезни. Как хорошо в Тиволи! Я опишу вам это место в другое время. Понимаю, что вы хотите прежде всего знать, что случилось со мной. Добрая леди Гэрриет, видя меня в лихорадке, которая начала трясти меня, как только мы возвратились из Тиволи, непременно хотела сама ухаживать за мной. Муж насилу растолковал ей, что ее попечения стеснили бы меня и беспрестанно раздражали бы, так что болезнь моя могла бы усилиться, и сам взялся обо мне заботиться. И с какой обдуманной нежностью занялся он мною! Он – истинно прекрасный человек. Видя, что я, как кошка, хотел скрыть болезнь мою, он тоже скрылся от меня позади моей кровати и вышел оттуда только тогда, когда я был в бреду и не мог понимать забот, предметом которых был.

Было два таких припадка; каждый продолжался по двенадцати часов, равно как и промежуток между ними. Искусный французский врач лечил меня и спас, кажется, от серьезной болезни. Я должен сказать, что и Даниелла также приняла во мне участие, и, когда я был не в беспамятстве, я видел, как она помогала лорду Б... ухаживать за мною. После я уже не видал ее, и даже, когда при отъезде моем из дома искал ее, чтобы поблагодарить и проститься с нею, я ее не нашел.

Надобно вам сказать, что я потихоньку бежал из Рима. Как только мне стало лучше, я просил доктора Мейера предписать мне загородную жизнь. Я хотел было поселиться в Тиволи, но там нездоровый воздух, и мне посоветовали отправиться во Фраскати. Лорд Б... намеревался сам отвезти меня туда и устроить меня там, но я не терплю занимать других моей глупой особой, нервной и раздражительной, как все расслабленные, и уехал ранее дня, назначенного для нашего отъезда. Я взял наемный экипаж, и вот я на свободе, то есть один.

Фраскати лежит в шести милях от Рима на Тускуланских горах. Эта цепь вулканических возвышенностей примыкает, как часть, к системе гор Лациума. Мы все еще в римской Кампании, но здесь уже конец ужасной пустыни, окружающей столицу католического мира. Здесь земля перестает пустовать и лихорадка прекращается. Надобно в течение получаса взбираться на гору, чтобы достичь чистого воздуха, разлитого поверх зараженной атмосферы необозримой долины, но эта чистота воздуха происходит здесь не столько от возвышения местности, сколько от обработки земли и от устройства водостоков; Тиволи вдвое выше, по своему положению, а не свободно от вредного атмосферного влияния.

На пути к этим возвышенностям, оставив за собой разрушенные водопроводы и три или четыре лье волнообразной местности, на которой нет для взоров простора, вы достигаете, наконец, совершенно гладкой равнины, которая представляет довольно грандиозное зрелище. Это – озеро бледной зелени, простирающееся влево, до самой подошвы горы Дженнаро. При закате солнца, когда мелкая и тощая трава этого неизмеримого пастбища подернется позолотой лучей заходящего солнца и оттенится, местами, силуэтами смежных гор, величественный характер местности обнаруживается вполне. В это время незначительные неровности почвы, исчезающие в этой обширной раме, стада и сопровождающие их собаки, единственные сторожа их, рискующие по целым дням оставаться в некоторых частях степи, не страшась малярии, обрисовываются в очертаниях и отделяются колоритом так явственно, как далекие предметы на море. В глубине этой зеленой пелены, такой ровной, что трудно определить взором ее пространство, основания гор кажутся плавающими на волнах колеблющегося тумана, тогда как вершины их высятся, неподвижные, отчетливо рисуясь на фоне неба.

Все это навело мою мысль на критическое замечание: почему римская Кампанья не всегда производит эффектное впечатление? Я говорю о впечатлении природы на глаз художника и, может быть, на душу поэтов. Причина заключается, по-моему, в несоразмерности предметов. Равнина слишком пространна сравнительно с вышиной гор: это огромная картина в узенькой раме. Свод неба слишком громаден, и взор не встречает ни одной заметной группы, которая могла бы задержать на себе внимание. Кругом все торжественно и однообразно, как море во время штиля. К тому же, особый быт этой страны умеет все испортить, даже пустыню. Уж если здесь пустыня, пусть же будет пустыней вполне, как Куперовы^[28] американские луга, естественные недостатки которых, как мне кажется, по их описаниям и по виденным мною картинам, довольно схожи со здешними: слишком мелкие хребты гор вокруг обширных плоскостей. Но индейские равнины, по крайней мере, дышат уединением, и живописец, глаз которого, как бы он ни бился, всегда смотрит под влиянием мысли, может отдохнуть на ощущении полного одиночества и торжественного отчуждения.

Здесь не думайте позабыть прошлые или настоящие беды общественного быта. Эта равнина усеяна предметами, находящимися между собой в резком разногласии: множеством более или менее славных древних развалин; башнями гвельфов^[29] или гибеллинов^[30], огромными вблизи, но микроскопическими на этой беспредельной арене; соломенными навесами, довольно просторными для загона на ночь стад, бродящих днем по степи, но издали до того малыми, что, кажется, и человеку негде поместиться. Эти детали, всегда или совершенно светлые, или совершенно темные, смотря по времени дня и по направлению света, несомны, и благодаря им равнина похожа на покинутый лагерь.

Простите мне эту холодную критику мест, которые мы привыкли находить восхитительными и исполненными поэзии. Надобно же объяснить вам, почему, за исключением редких минут, когда взор случайно ловит здесь гармонические детали (как, например, стада) или какой-нибудь вид между двух холмов, где, по счастью, глаз не наткнется на резкие очертания развалин, я внутренне восклицаю: «Бессмысленная, трижды бессмысленная римская степь! О, мои прекрасные, роскошные ланды^[31] в Ла-Марше и в Бурбонне, никто не воспевает вас! Это оттого, что у вас нет чумы, нет трупов, нет разбойников и нет слез поэта!»

Наконец, здесь, во Фраскати, вы переселяетесь в другой мир, уютный мир садов посреди скал; в мир, по счастью, своеобразный, не похожий ни на что и дающий вам понятие о наслаждениях древней жизни. Я постараюсь, как умею, изобразить вам его; здесь в первый раз я почувствовал, что я далеко от Франции, что я в новой стране. Сегодня я расскажу вам только о моем перемещении в жилище столь же странное, как и все его окружающее.

Забудьте слова, сейчас только мною сказанные: «Наслаждения древней жизни». Здешняя местность по праву заслуживает названия прелестной, но для бедного путешественника цивилизация не оставляет здесь ничего, и если истинно царские виллы, которые я вижу из окон моего приюта, обличают остатки древней роскоши, мещанское и ремесленное сословия, прозябающие у самых оград дворцовых садов, не имеют ни малейшего о ней понятия.

Город, впрочем, красив не только по своему живописному положению и по кайме римских развалин, висящих над глубоким обрывом, но и сам собою. Он хорошо распланирован и довольно хорошо отстроен. У въезда укрепленные ворота, форма которых не лишена характерности. Площадь, настоящая итальянская, с фонтаном и с базиликой, выражает и значительность, и простор, и удобство, которых, в сущности, нет; но то же встретите вы во всех небольших городах Церковной области: везде прекрасный въезд, памятники, несколько огромных палат, с виду барских; щеголеватая вилла или богатый монастырь, где показывают несколько картин знаменитых художников, и потом, вместо города, довольно милостивое местечко, населенное рублищами и затаившее внутри себя отвратительную нищету и невыразимую неопрятность. Я осмотрел домов двадцать, приискивая уголок, где бы приютиться. Воспитанный в бедной деревушке, я, уверяю вас, не искал аристократических, прихотливых удобств, – и что

же? Повсюду я находил эту противоположность, исключительно свойственную Италии: бесполезную роскошь украшений и недостаток в самых необходимых потребностях жизни. В самом бедном жилище – статуи и картины; зато нигде, разве за непомерную цену, нет опрятной кровати, нет стула с полным комплектом ножек, нет окна без выбитых стекол. Я заходил в эти дома, обманутый их наружным видом. Хорошо построенные и хорошо сохранившиеся снаружи по милости неразрушительного климата, они предвещают удобство; но при самом входе вы удивитесь, вступая в какие-то сени, служащие отхожим местом для проходящих; далее грязная лестница, со ступенями в аршин вышиной, ведущая в скверный чулан, полный отвратительной вони. Правда, у нас мрамор под ногами и кое-какие фрески над головой. Излишнее необходимо для римлянина – и наоборот, необходимое излишне.

Во Фраскати внутренность Albergo Nobile, старинного дворца, сто раз перепроданного, замечательная редкость в этом отношении. Вы проходите через обширные залы, наполненные статуями из белого мрамора, копиями древних статуй. В просторном главном зале, устроенном полукругом, вы видите целый Олимп, колоссально бессмысленный. Далее идут комнаты с ландшафтными видами, которые пересекаются изображенными по стенам колоннами, прекрасные купальни с ваннами из белого мрамора по древним образцам; другие покои, более таинственные, отделаны также белым мрамором с резьбой. А посреди этой роскоши стен – лоскутья, ковры в заплатках, разрозненные кресла, грязные и гнилые, так что и отвратительно и опасно присесть на них, тюфяки, набитые обломками аспидных плит, а для украшения – полинялые, красные с позолотой вазы с пучками павлиньих перьев. Я воображаю, что король могущественного царства Томбукту или какой-нибудь главарь племени плоскоголовых пришли бы в неистовый восторг, глядя на такие украшения.

В вилле Пикколомини я нашел самое удобное и самое дешевое помещение, где я и расположился. Это большой четырехугольный дом, выстроенный на широкую ногу, который, несмотря на свои недостатки и разорение, все еще заслуживает название дворца. Крыльцо, с изломанными и рассохнувшими ступенями, проходя по которым нужно еще нагибаться под развешанное на веревках белье, ведет к сеням, которые, если б уставить их цветами, составили бы прекрасную оранжерею. В нижнем этаже идет длинный ряд комнат со сводами несоразмерной вышины и с узенькими окнами, которые когда-то затворялись. Целый дом устроен так, чтобы летом была прохлада; зато в настоящее время здесь нестерпимый холод. Фрески, украшающие сверху донизу эти монументальные комнаты, все нелепого вкуса. Художник то старался подражать арабескам Рафаэля и не подражал никому, то изображал нагих человечков, исполняющих должность богов, которые корбятся на плафоне в ужасные позы, уморительно передразнивая фигуры Микеланджело. Двери расписаны по золотому фону и украшены кардинальскими шляпами; эти эмблемы преследуют вас во всех здешних барских палатах; нет ни одной старинной фамилии, в числе членов которой не было бы высших сановников церкви. Все это грязно, растрескалось, заплесневело, загажено мухами. Массивные золоченые консоли, крытые дорогой, но некрасивой мозаикой, расставлены по углам и до того ветхи, что угрожают разрушиться. Зеркала, в пятнадцать футов вышиной, потускнели от сырости и заклеены на разломах гирляндами из синей бумаги. Помост из маленьких кирпичей крошится под ногами. Железных кроватей, без занавесок, почти не видно в необъятном просторе комнат. Остальная мебель соответствует нищенской роскоши прочего убранства. На пять огромных комнат только один камин, да и тот почти бесполезен; во Фраскати не найдешь дров ни за какие деньги; хотя окрестные холмы покрыты богатой растительностью, но эти рощи принадлежат трем или четырем семействам, которые по праву рассудительных владельцев берегут наследственные тенистые приюты, а за своим обиходом лишнего хвороста на продажу у них не остается. Бедные люди и иностранцы, воображающие, как воображал и я, что в Италии теплая зима и жаркая весна, отогреваются здесь на мгновенном пламени перегнившего тростника, который отслу-

жил свое время в виде тычинок на виноградных лозах и который, по негодности к этому употреблению, продается здесь по ценам наших дров².

Над этим нижним жильем, которое с противоположной стороны дома, построенного на скате горы, составляет бельэтаж, тянется ряд комнат еще больших размеров; здесь живет летом швейцарская семья, которой принадлежит вилла Пикколомини. Теперь дом этот оставался бы совершенно пустым, если бы четыре работника не приходили ночевать в подвал, а на чердаке не жила старая Мариуччия.

Мариуччия, в переводе на французский Марион или Мариота (признаюсь, что сходство ее имени с именем домоправительницы моего дяди не осталось без моего внимания), – единственный страж, служанка, домоправительница, кухарка, управитель, словом, *factotum* этого огромного дома и принадлежащих к нему угодий. Эта женщина – престранное и преземечательное существо: низенькая, худенькая, плоская, беззубая, запачканная, съжившаяся, она считает себя *una trentasettesina* (тридцать семь лет). Я было перепугался, когда она предложила мне заняться моим хозяйством и стряпать для меня; но, разговорившись с нею, я увидел, что она очень неглупая женщина, пожалуй, и умная, и что она была бы для меня истинным сокровищем в минуты хандры, когда чувствуешь такую настоятельную потребность перемолвиться словом, обменяться мыслями с каким-нибудь живым существом, как бы странно оно ни было.

Она водила меня по всем жилым комнатам дома, начиная с парадных покоев, до самых скромных горенок, объявляя цены найма с энергичной решительностью. Так как эти цены были сходнее всех, объявленных мне в других местах, то я торговался только для того, чтобы налюбоваться гримасами ее физиономии и послушаться ее изумительной скороговорки. Я думал, что меня оберут порядком, ограбят, как жертву мелочных потребностей служанки-хозяйки, и готов был покориться неизбежной участи, но как только я выбрал себе помещение, дела приняли совершенно другой оборот. Мариуччия, или по внезапному расположению ко мне, или по врожденной доброте своей, начала за мной ухаживать, будто за старым знакомым. Она тревожилась, видя, что я очень бледен, и хлопотала, чтобы поскорее натопить мою комнату, разобрать мой чемодан и состряпать мне обед. Она принесла мне лучшее кресло и лучший матрац из целого дома, обшарила покои своих господ, чтобы найти мне книги, лампу, чистый ковер; отрыла на чердаке ширмы и набрала в саду охапку хвороста. Наконец, она назначила мне очень скромную цену за стол и свои услуги.

Все это расположило меня в ее пользу, не потому, чтобы я восставал против системы обирания кошельков, которой каждый путешественник должен подчиниться в Италии, если хочет жить мирно, но потому, что всякому отрадно видеть в подобном себе существе, каково бы оно ни было, равного себе по понятиям о честности.

Итак, я живу теперь в третьем этаже, который, принимая в расчет непомерную вышину двух нижних, был бы шестым в Париже. Вид из моих окон восхитительный; я должен бы сказать «два восхитительных вида», потому что мои две комнаты находятся на самом углу дома, так что из окон одной я вижу цепь гор от Дженнаро до Соракте, римскую Кампанию и целый Рим как на ладони, вижу его невооруженным глазом, несмотря на тридцать миль расстояния, в прямом направлении по равнине, отделяющей меня от города. Из окон другой комнаты открывается вид еще очаровательнее; за пределами неизмеримой степи виднеется море, тянется берег Остии, чернеет лес Лаурентума, светлеет устье Тибра, и над всем этим на последнем плане картины высятся в небо, как призраки, неясные очертания Сардинии. Перспектива необъятная! Вот блеснул луч солнца и придал этой панораме одухотворенный вид. Здесь могу я жить и больной, могу не скучая лениться, могу переносить заключение в дождливую погоду. Что касается пищи, я обеспечен; со мной живет добрая женщина, на смешную, но добрую

² Во Франции только в сильные морозы топят дровами; в остальное время – вязками хвороста и сухими сучьями, остающимися от периодической подчистки лесов. – *Примеч. пер.*

физиономию которой я могу любоваться когда угодно; две комнаты, невысокие, но большие; воздух всегда чистый, по причине возвышенного положения и не очень плотной постройки моего жилья; несколько книг, из которых я могу почерпнуть много сведений о здешнем крае, и если будут, хотя и редко, ненастные дни, предо мной такой великолепный вид, каким я никогда не любовался.

В то самое время, когда я пишу вам это, как очарователен описанный мною ландшафт! Далекие горы блещут отливом опала, таким нежным, таким тонким, что они кажутся как бы прозрачными. Вся восточная сторона картины будто тонет в теплом свете вечерних отблесков. Напротив того, весь запад залит ярко-пурпурным заревом. Солнце, спустившееся на черту горизонта, жарко пылает, а столпившиеся около него темно-фиолетовые тучи придают ему еще более блеска. Болотистые излучины Тибра светлой нитью змеятся около темных масс леса, еще более фиолетовых, чем небо. Море стелется вдали огненной пеленой, а на террасе ближней виллы, будто нарочно, чтобы придать еще блеска и странности картине, на первом ее плане роскошный фонтан сыплет мириады золотых брызг, резко отбивающихся на темном ковре зелени.

Глава X

Фраскати, вилла Пикколомини

1 апреля

Недаром солнце садилось в тучи: в эту ночь разразилась такая гроза, какой я сроду не видывал. Несмотря на толщину стен и мои маленькие окна, отчего всякий внешний шум должен бы, казалось, отдаваться здесь глуше, я думал, что вилла Пикколомини улетит в пространство, по которому носились вчера мои изумленные взоры. Я, однако же, заснул, но мне снилось, будто я на корабле, который рассыпался вдребезги. Сегодня идет частый, но мелкий дождь. Колоссальный пейзаж, который я вам описывал, более не существует. Не видать ни Дженнаро, ни Соракте, ни базилики Святого Петра, ни Тибра, ни моря. Все туманно, как парижское утро. Я едва различаю дома Фраскати подо мною: надобно вам сказать, что вилла Пикколомини, лежащая на одной из оконечностей города, расположена на верхней площадке естественных зеленеющих уступов, которые мне очень хочется осмотреть поближе.

Мариуччия принесла мне чашку хорошего молока. Пока я вынужден сидеть дома, я расскажу вам о некоторых обстоятельствах, пропущенных мной во вчерашнем бюллетене.

Речь идет о поездке в Тиволи, о которой я намекнул вам, но приключения которой кажутся мне сегодня до того странными, что мне сдается, будто я видел все это в бреду моей болезни.

Я люблю странствовать по живописным местностям или один, или с артистами; но семейство Б... решило отправиться в Тиволи двадцать шестого прошлого месяца и меня взять с собою. Брюмбера не пригласили, хотя и для него нашлось бы место в коляске. Я предложил было разместиться с кучером на козлах, но от моего предложения уклонились, и, видя, что дамы этого не желают, в особенности леди Гэрриет, я не настаивал и, естественно, не предупредил Брюмбера, как прежде был намерен, что и ему есть возможность отправиться с нами.

Дорога казалась мне страшно скучной до Сольфатары, где начинается геологически интересная местность. В воздухе было то жарко, то прохладно; леди Гэрриет и ее племянница непременно хотели, чтобы лорд Б... и я восхищались поэзией и красотой равнины, а я находил, что она несносна и дорога по ней утомительно скучна. Мы ехали, впрочем, не тихо. Лорд Б... купил четверку отличных местных лошадей. Здесь славная порода, они невелики и хотя плотны, но не тяжелы, прытки на бегу, с огоньком и вполне сносны. Мастью они бывают обычно вороные, шерсти мелкой и гладкой, голова у них неказистая, нога похожа несколько на коровью, но прочие стати хороши. Часто бывают они норовисты, и на каждом шагу и во всякое время можно встретить в Риме и его окрестностях нешуточные ссоры этих животных с человеком. Здешние всадники и кучера очень смелы, но вообще обращаются с лошадьёю скорее бойко, круто, упрямо, чем искусно и разумно. Несчастные случаи, однако же, здесь редки; лошади крепки ногами и не спотыкаясь спускаются по мостовой из плитняка с самых крутых съездов на холмах столицы.

Вчера я заметил лорду Б..., который в первый раз объезжал эту четверку, что тип этих лошадей тот самый, что у лошади Адриана, из позолоченной бронзы, на дворе Ватикана. Лорд говорил мне, где именно в Церковной области водится эта порода, но я забыл. Это, я думаю, *he Agro romano*; жеребята этой породы, пасущиеся в степи, все чахлые, равно как и их матки. Быки здесь также малорослы и некрасивы, хотя и принадлежат к прекрасной породе скота, молочно-белой масти с огромными крутыми рогами; их употребляют для перевозки тяжестей и на земледельческих работах в нагорных странах. Эта порода не такая рослая, как рогатый скот во Франции, но тонкость стати и шерсти, красота ног и головы должны бы служить моделью для живописцев при изображении этих животных на картинах. Однако же на картинах римской

школы мы чаще видим буйволов, вероятно, как животных более странных форм; по-моему, эти буйволы пребезобразные.

Эта порода белых быков происходит, как мне говорили, из Венецианской области; но чрезмерное развитие рогов, как мне кажется, есть уже перерождение, следствие влияния местных условий почвы и климата, и скорее признак слабости, чем силы. Здесь пахут на чем попало: на быках, на коровах, на ослах и на лошадях; пахут небрежно, не заботясь о стоках для воды, не принимая должных мер против загрязнения воздуха, не разрыхляя как следует земли. Земля здесь плодородна, климат благоприятный; но для хлебопашцев все дело в том, чтобы скорее закончить работы и, по возможности, не долго оставаться в этой зараженной стране. Они все нездешние; кочующие поденщики, они ночуют, в продолжение полумесячной работы своей, в развалинах или под соломенными навесами, которые служат путнику убежищем в степи; окончив кое-как работы, они спешат уйти, ищут заработков в более здоровых местах и возвращаются сюда не раньше, как ко времени жатвы, оставляя зерно попечениям природы и не заботясь о посеве, пока он не созреет.

Животные, брошенные в степи почти с той же беззаботностью, как и семена, очевидно, терпят от влияния атмосферы. В местах, лежащих выше уровня этой зараженной страны, скот, равно как и растительность, рослее и красивее.

Из домашних животных здесь красивее всех козы. Большое стадо коз кашмирской породы прилегло отдыхать близ дороги и спокойно спало, когда мы подъехали; посреди молодых коз спало также дитя, завернутое в козью шкуру. Услышав стук приближающегося экипажа, все проснулось, все вскочило в один прыжок и вихрем понеслось по равнине. Как волна белого шелка, катилось стадо по ровной поверхности степи. Молодые козы крупными прыжками подавались вперед, старые неслись, распутив по ветру блестящую бахрому своей шелковистой шерсти. Молодые пастухи, также белые, потому что единственной их одеждой были козы шкуры, бежали вслед за стадом, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь на ноги и задыхаясь от быстрого бега и страха.

Мы остановились, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Я вышел из коляски и сумел успокоить мальчика-пастуха, который позволил мне взять на руки маленького козленка, чтобы показать его мисс Медоре.

Здесь начинается, милый друг, мое странное приключение. Прекрасная Медора усадила козленка на колени, ласкала его, кормила хлебом, играла с ним, пока лорд Б... не вышел из терпения и не напомнил, что время проходит и что дай бог засветло осмотреть наскоро Тиволи и возвратиться в Рим. Отдавая мне животное, она устремила на меня странный взгляд и потом, откинувшись в глубь экипажа, закрыла платком лицо.

Это движение навело меня на мысль, что неприятный запах козленка заставил ее поднести к лицу платок, опрысканный духами.

Я поспешил возвратить козленка пастуху, который не забыл протянуть ко мне руку, еще прежде чем я опустил мою в карман, чтобы вынуть для него несколько байок. Когда я снова сел в коляску, я увидел, что мисс Медора рыдала, тетка ее старалась ее успокоить, а лорд Б... насвистывал какое-то *lila burello*, с видом человека, смущенного смешной сценой. Это непонятное положение смутило и меня. Я осмелился спросить, не нездорова ли мисс Медора? Она сейчас же отняла платок от лица и, взглянув на меня как-то странно, сквозь крупные слезы, еще дрожавшие в глазах ее, весело отвечала мне, что она никогда не чувствовала себя так хорошо, как теперь.

– Да, да, – поспешила сказать леди Б..., – это ничего, это нервный припадок.

«Какое мне дело», – подумал я и через несколько минут приискал благовидный предлог, чтобы пересесть на козлы, чего мне давно уже хотелось, и это желание очень усилилось со времени странной сцены, в которой я играл нескромную роль безучастного и, следовательно, лишнего свидетеля.

Немного далее мы остановились, чтобы осмотреть озерки *deitartari*³ и окружающие их любопытные серные кристаллы. Вообразите себе миллионы маленьких вулканических конусов, из которых каждый имеет свое главное жерло и окружные отверстия. Это миллионы миниатюрных Этн. С первого взгляда эти крошечные сопки похожи на особый вид растений, окаменевших на корню, а потом покажутся вам жидкостью, мгновенно застывшей в минуту самого сильного кипения. Вокруг этого поля кратеров и по берегам этих луж мутной воды, называемых озерами, стоят грядками другие необъяснимые сталактиты, принимаемые здесь за окаменевшие растения. Я не очень верю этим догадкам и полагаю, что это, так же как и соседние конусы, продукт вулканической прихоти, отверделые брызги кипевшей грязи, смешанной с серой.

Я осматривал этот феномен с большим любопытством, отломил несколько образчиков и немало удивился, видя, что мисс Медора опять расплакалась. Тетка пожурила ее немного и поспешила увести в экипаж.

– Пойдем, – сказал мне лорд Б... – Если это вас так интересует, мы с вами, пожалуй, опять сюда приедем. Вы видите, что у моей любезной племянницы припадок сумасшествия.

– В самом деле? – воскликнул я в смущении. – Эта девица подтвержена...

– Нет, нет, – возразил, смеясь, лорд Б..., – она не настоящая сумасшедшая. Она только дурачится, как и моя жена, которая придает этим странностям слишком большую важность, а вы сами хорошо знаете их причину.

– Я ничего не знаю, уверяю вас.

– Вы ничего не знаете? – спросил меня лорд Б..., останавливая меня и глядя мне пристально в глаза. – По чести, ничего не знаете?

– Честное слово, – отвечал я непринужденно.

– Гм... это странно, – возразил он. – Мы поговорим об этом после, если представится случай.

И, не дав мне времени расспросить его, он повел меня к коляске и принудил уступить ему место на козлах под предлогом, что сам хочет править лошадьми, чтобы попробовать, не слишком ли они перетянуты уздой.

Вы понимаете, что я опять сидел как на иголках. Мои английские дамы сначала хранили молчание. Леди Б..., казалось, была смущена не менее меня; племянница продолжала плакать. Вынужденный, по уверениям леди Б..., принять это за нервный припадок, я не мог придумать, чем бы тут помочь. Я то поднимал, то опускал стекла, – раз, чтобы впустить свежий воздух, другой, чтобы охранить от пыли. Мы стали подниматься шагом в гору, поросшую тысячелетними оливковыми деревьями, я предложил выйти из экипажа. Дамы с удовольствием приняли мое предложение, но леди Гэрриет, довольно полная, скоро утомилась и опять села в коляску. Лорд Б... оставался на козлах и понукал лошадей. Кучер тоже слез наземь, а мисс Медора, лениво шедшая позади, вдруг побежала, будто укушенная тарантулом, и пустилась, легкая, сильная и грациозная, по крутой, извилистой дороге.

– Славная женщина! – сказал наивно кучер с бесцеремонностью, свойственной итальянцам всех сословий, обратившись ко мне с братским дружелюбием. – Славная женщина! От души поздравляю вас, барин.

– Ты ошибаешься, друг мой, – отвечал ему я, – эта красавица не жена моя; она еще девушка, вовсе для меня посторонняя.

– Я знаю, – отвечал он спокойно, без всякого спроса вынимая у меня изо рта сигару, чтобы закурить свою. – Я нанялся к этим англичанам на лето и знаю, что она вам чужая, но вся наша дворня, да и весь Рим знает, что вы на ней женитесь.

³ Винного камня.

– Так потрудись сказать, любезный, и свой дворне, и, пожалуй, всему Риму, что ваши предположения – сущий вздор и бессмыслица.

Я ускорил шаги свои, вовсе не собираясь слушать последствия глупой болтовни Даниеллы и сплетен ее помощника Тартальи. Мне было досадно, что эта челядь отводит мне такую глупую роль, и я старался забыть это, шагая по дороге.

Эта новая забота вовсе не кстати развлекла меня в то самое время, когда очарование начинало овладевать мною среди этой поистине удивительной местности. Гора была покрыта ярко-зеленой травой, а древние оливковые деревья сглаживали свои причудливые формы и судорожные изгибы своих ветвей под бархатной оболочкой свежего мха. Оливковое дерево некрасиво, пока оно не доросло до этой колоссальной дряхлости, которую оно сохраняет по несколько веков, не переставая быть плодоносным. В Провансе оно чахло, это пуки беловатых листьев, которые кажутся издали клочками седого тумана. Здесь оно достигает огромных размеров и осеняет сквозной тенью, просеивая солнце золотым дождем через частую решетку своих полуобнаженных ветвей. Его растреснувший ствол разветвляется со временем на восемь или на десять огромных отщепин, вокруг которых обвиваются, как встревоженные змеи, новые отпрыски сильных корней.

Такой лес приводит на память очарованный лес Тассо^[32]. Невольно мнится, что и эти деревья – заколдованные чудовища, и вот, того и гляди, оживут, зашевелиятся, заревут, заговорят. Но ни в помыслах этого итальянского поэта, ни в здешней природе нет настоящих, действительных ужасов. Зелень слишком прекрасна, а ясная синева дали, виднеющаяся сквозь плетень древесных ветвей, такого нежного колорита, что не бросит мрачной тени на грезу воображения. Здесь, как в поэме Тассо, предчувствуешь благотворное влияние фей, всегда готовых превратить огненных драконов в цветочные вязи, а тернистый кустарник – в обольстительных нимф.

Так мечтал я, когда прекрасная, убежавшая вперед Медора, о которой я совсем было забыл, появилась вдруг на повороте горной тропинки, выпрыгнув внезапно из дупла разветвленного дерева, где ей вздумалось притаиться. Я вздрогнул, а она бросилась ко мне, веселая, смеющаяся, как будто с ней отроду не было нервных припадков. В эту минуту она действительно была во сто раз прекраснее, чем мне казалось прежде. Излишняя мелочная заботливость о себе, которую я невольно приписываю чрезмерному самолюбию, всегда портила ее в моих глазах. Она всегда слишком хорошо одета, слишком хорошо причесана и цвет ее лица всегда слишком свеж, слишком неизменен. Это красавица из слоновой кости и перламутра, которая беспрестанно меняет платья, ленты и ожерелья, никогда не изменяя своего образа, и я часто очень искренне говорил Брюмьеру, что неизменная красота мисс Медоры надоела мне до смерти.

В эту минуту она была совершенно иная. Слезы подернули оттенком утомления ее прекрасные глаза; ее щеки, оживленные от ускоренного движения, покрылись румянцем, менее ровным, но более жарким, чем обыкновенно. Кожа ее утратила всегдашнюю сухость и приобрела больше жизненности; взоры сияли влагой чувства. Бегая, она потеряла заколку с головы, и ее коса рассыпалась по плечам. Может быть, она и спрятала в карман свою накладную косу, но и ее собственных волос было довольно, чтобы не нуждаться в поддельных. Ее не украшала уже неумолимая диадема приглаженных волос, лоснящаяся, как полированный черный мрамор, на беломраморном челе ее; это были ее природные волосы, рассыпавшиеся, как волнистые лучи сияния, на ее розовые, трепещущие жизнью плечи.

Вероятно, она заметила в моих глазах признаки удивления красотой ее, потому что подбежала ко мне дружески и взяла меня под руку с естественностью, вовсе не похожей на всегдашние презрительные ужимки.

– Что вы задумались, – спросила она меня, – и чему так удивились, когда я выскочила из дупла?

Я рассказал ей, как размечтался об очарованной роше Тассо и как появление ее совпало с воспоминаниями об этих волшебных вымыслах.

– Вы хотите сказать, что я показалась вам просто-напросто колдуньей? Мне, впрочем, нечего жаловаться; только в таком виде и можно вам понравиться.

– Что вам вздумалось приписывать мне такую странную мысль?

– А ваше восхищение прачкой Серебряного ключа? Единственное существо моего пола, которое понравилось со времени вашего приезда в Рим, вами же прозвано сивиллой^[33].

– Так вы думаете, что, с точки зрения волшебства, я хочу приравнять вас к семидесятилетней старушонке?

– Что вы сказали? – прервала она меня, стиснув мою руку своими точеными пальцами. – Этой женщине семьдесят лет?

– Позвольте, но разве я не сказал этого, описывая ее прелести?

– Нет, вы не говорили. Зачем вы этого не сказали?

Этот странный вопрос, сделанный тоном упрека, до того смутил меня, что я не знал, что отвечать. Она вывела меня из затруднения, прибавив сама:

– А Даниелла? Что скажете вы о Даниелле? Не правда ли, и она немножко похожа на чародейку?

– Мне этого никогда не приходило в голову; да оно ей и не нужно: она, по-моему, и без того хорошенькая.

– А! Вы соглашаетесь, что она вам нравится? Я это и прежде говорила. Надобно быть безобразной, чтобы вам нравиться.

– Так, по-вашему, Даниелла безобразна?

– Отвратительна! – отвечала она с видом царицы, которая ревнует ко всякому хотя немного сноскому существу на всем пространстве своих владений.

– Перестаньте, вы слишком взыскательны, – отвечал я смеясь. – Вы хотите, чтобы на тех, кто не лучше вас, не смели и смотреть. К чему после этого глаза? Их придется выколоть и навек отказаться от живописи.

– Это комплимент? – спросила она с видимым волнением. – Комплимент – та же насмешка, а насмешка – оскорбление.

– Вы правы. Это не комплимент, но слишком избитая правда, и я не должен бы говорить вам ее; вы, вероятно, до скуки ее наслушались.

– В этом отношении вы меня не избаловали. Но доскажите вашу мысль. Вы знаете, что я недурна, но вам не нравятся черты моего лица?

– Я думаю, что я любил бы их столько же, сколько им удивляюсь, если бы они были всегда попросту прекрасны, как теперь.

Побуждаемый ее настоятельными вопросами, я увлекся и высказал ей, что, по-моему, она всегда слишком старательно убрана, будто оправлена в рамку; слишком прикрашена, и вместо того, чтобы походить на самое себя, то есть на истинно прекрасную, восхитительную женщину, она только и хлопочет, как бы подделывать в себе сходство с каждой принаряженной женщиной, с типичными образцами аристократического круга, с манекенами, стоящими на выставке у магазинов мод и ювелирных изделий.

– Вы, кажется, правы, – сказала она после минутного задумчивого молчания и срывая с себя брошку и браслеты работы знаменитого Фроман-Мориса, истинно художественные произведения, на которые именно я никак не решился бы восставать, она бросила их в лес с сарданапальским, радостным увлечением.

– Вот удивительная выходка! – сказал я, бесцеремонно отпуская ее руку, чтобы поднять эти драгоценные предметы. – Простите мне, как артисту, мой упрек за презрение к такому художественному произведению.

Я не без труда отыскал эти вещи и подал их ей, но она, отталкивая их рукой, сказала с гневом:

– Оставьте их у себя; мне они больше не нужны.

– Да для кого же мне оставлять их у себя?

– Для кого хотите: пожалуй, хоть для Даниеллы. Когда она нарядится, она перестанет нравиться вам, как и я.

– Я отдам их ей сегодня вечером, чтобы она убрала их в вашу шкатулку, – сказал я, спрятав в карман эти драгоценности.

– Вы жестоки! – воскликнула она. – Все ваши ответы холодны как лед! – И, покинув меня, она опять побежала впереди экипажа, оставив меня в изумлении от ее вспышек.

Что происходит в этой странной девичьей головке? Вот вопрос, которого я до сих пор не могу разрешить. Когда коляска догнала ее, она была спокойна и весела. Она всегда скоро успокаивается после волнений, которые, как перелетные птицы, на миг посещают ее сердце.

Глава XI

Фраскати, 1 апреля. (Другое письмо.)

Тиволи – прекрасный городок в смысле красоты местоположения, но лихорадка, нищета и неопрятность царствуют там, как и в Риме. Когда мы приехали, все население городка хлопотало за свозом оливок, позднее собирание которых в этой не слишком жаркой местности только что окончилось. Мужчины, женщины и ребяташки представляли, как в Риме, настоящую выставку лохмотьев, невиданную в других странах; смотря на это сборище рубищ, трудно решить, недостаток или мода ввели в общее употребление эту отвратительную ливрею. В праздники, однако же, деревенские женщины одеваются с удивительной роскошью. В каждой деревне свой костюм, можно сказать, залитый золотом и пурпуром; на всех платья и передники из шелкового штофа, дорогие цепи и серьги. В будни все опять в грязных рубищах, все просят милостыню у прохожих. У вас есть рисунок небольшого красивого храма Сивиллы, висящего над обрывом скалы, но по этому рисунку вы никак не можете составить себе верное понятие об этой пропасти, в которую я сейчас сведу вас.

Лорд Б... отправил Тарталью в Тиволи накануне, чтобы заказать для нас завтрак. Когда мы приехали, стол уже был накрыт на крутой террасе, возле самого храма, напротив ужасной скалы, на вершине которой находился главнейший из гротов Нептуна. Вершина эта обрушилась несколько лет назад и завалила часть русла Анио, так что река, уклонившись от прежнего направления, потекла под тоннелями окрестных скал и образует теперь главный водопад. Но в прежнем русле осталось еще довольно воды, чтобы питать ручей, протекающий по дну пропасти, а чудовищные обломки грота, рассыпанные у подошвы скалы, придали особую прелесть местности, над которой господствует занимаемая нами теперь терраса. К тому же, по случаю выпавших в последнее время дождей, по верхней площадке скалы Нептуна катилась струя воды и серебряной пеленой спадала на лежащий внизу острый отлом вершины.

Откосы пропасти покрыты обильной растительностью, и за нею нам не видно было другого рукава ручья, который образует более значительные водопады почти на дне котловины; мы слышим только оглушительный рев их, равно как и большого водопада, заслоненного от нас другими массами скал. Эти вопли бездны, раздающиеся под навесами деревьев, вершины которых у нас под ногами, невыразимо очаровательны.

Завтрак был бесподобным благодаря предусмотрительности лорда Б... и заботливости Тартальи, который знает толк в кухне, как и во всем другом. Лорд Б... был весел, сколько мог по условиям своей натуры. Вдохновленный лишней рюмкой вина Асти, очень приятного на вкус, но довольно крепкого, которому, как я сам вскоре почувствовал, нельзя слишком доверяться, он заговорил о Божьем творении с поэтическим увлечением, тем более замечательным, что оно опиралось на здравый смысл, который является господствующим началом в его характере. Леди Б..., как и всегда, хотелось посмеяться над редким воодушевлением лорда, но мне удалось остановить ее. Я слушал с заметным вниманием слова ее мужа и помогал ему развивать его мысли, когда его природная застенчивость и недоверие к самому себе мешали ему достаточно уяснить их. Он наговорил много хорошего, проникнутого теплым чувством и отмеченного своеобразием его взгляда на вещи. Медора, одаренная более светлым умом, нежели ее тетка, вслушиваясь мало-помалу в слова его, была, видимо, поражена ими, и, поглядывая на нас с удивлением, удостоила, наконец, вступлением в разговор со своим дядей как с человеком, имеющим в глазах ее некоторую цену. Это одобрение племянницы заразило и тетку: она перестала подпрыгивать на месте при каждом слове своего супруга и раза два-три сказала, слушая его: «Это верно, чрезвычайно верно!»

Когда подали кофе, дамы встали из-за стола, чтобы надеть свои мантильи, потому что небо заволокло тучками и в воздухе становилось свежо. Лорд Б... остановил их.

– Подождите еще немножко, – сказал он, – налейте себе по рюмке бордо и чокнемся по французскому обычаю.

Предложение это возмутило миледи, но Медора, которая имеет много власти над нею, взяла рюмку и, обмочив в нее свои розовые губки, спросила у дяди, за чье здоровье пить.

– Да здравствует дружба, – отвечал он со сдержанным волнением. – Леди Гэрриет, будьте так добры, провозгласим тост в честь дружбы!

– Какой дружбы? – спросила она. – Нашей дружбы к господину Вальрегу, нашему избавителю? В честь дружбы и признательности! Очень рада!

– Нет, нет, – прервал лорд Б..., – Вальрег не требует наших уверений; я говорю о дружбе в общем смысле.

– Объясните, – прервала Медора. – Я уверена, что вы прекрасно объясните нам вашу мысль.

– Я пью, – сказал лорд, подняв свою рюмку, – в честь бедняжки богини, неутешной вдовы шалуна Купидона, приютившейся в уголку порожного колчана, как Пандора^[34] в заветном ящике всех зол и бедствий. Молодежь презирает мою богиню, потому что она, бедная, устарела и притом очень скромна; но мы, миледи...

Я видел, что он готов испортить свое вступление каким-нибудь неловким намеком на слишком зрелые осенние прелести его супруги, и воспользовался одной из многочисленных музыкальных фермат, состоящих из полувздоха и полужевка, которыми он так замысловато оттеняет свою речь, чтобы заглушить ее заключение громкими аплодисментами. Потом я прибавил со сноровкой глубокого сердцеведа, которой я прежде и сам в себе не замечал: «Браво, милорд! Это было во вкусе Шекспира, которого вы будто не понимаете, но, как я убежден, могли бы комментировать не хуже Малона или... самой миледи!»

– Неужели! – воскликнула леди Б... с изумлением и с улыбкой удовлетворенного самолюбия. – В самом деле, я часто думаю, что невежество милорда одна аффектация и что в нем несравненно более вкуса и сердечной теплоты, чем он показывает.

Милорд, вероятно, давно не слышал таких любезностей от своей супруги. Бедняга как будто хотел взять ее руку, но, удержанный обратившимися у него в привычку недоверием и боязнью, он меня взял за руку и мне выразил изъявление своей признательности.

– Вальрег, – сказал он, – выслушайте и поймите меня. Двадцать лет уже не завтракал я с таким удовольствием!

– Правда, – сказала миледи, – с тех пор как мы завтракали на ледниках Шамуни. Кто был тогда с нами, я не припомню...

– С нами никого не было, – отвечал лорд Б..., – и вы, миледи, так же, как теперь, пили со мной в честь дружбы!

Яркий румянец вспыхнул на лице леди Гэрриет. Она боялась, что неосторожные слова ее вызовут какое-нибудь нежное воспоминание. Нельзя не заметить, что, за исключением малейших оскорблений ее британской стыдливости, ничего не раздражает ее столько, как самое незаметное хвастовство ее мужа насчет прежних отношений с нею, и она была очень довольна, что он вовремя воздержался от дальнейших воспоминаний о их tête-à-tête в Шамуни.

– Не смешно ли, – шепнула мне мисс Медора, – что последний день нежности милых дядюшки и тетушки так некстати случился в символическом приюте ледников?

Так как она стояла в это время у самой платформы, окружающей храм Сивиллы, облокотясь на железную его ограду и шум водопада заглушал наши слова, то я мог говорить с нею без опасения, что нас услышат, хотя стол, за которым еще сидели милорд и миледи, был в двух шагах от нас.

– Я не нахожу ничего смешного, – сказал я насмешнице Медоре, – в неприятном положении людей, так совершенных порознь и так непохожих на себя, когда они вместе. Я полагаю,

что если бы кто-нибудь искусно и с любовью стал между ними, то мог бы отчасти уладить их отношения...

– И вы, как я вижу, взялись за это достойное дело?..

– Я им чужой, мы сегодня вместе, а завтра врозь. Не мне следует взять на себя эту заботу, чтобы иметь успех. Этот труд по силам только разборчивому уму женщины...

– И великодушным влечениям ее сердца. Я поняла и благодарю вас: Я была до сих пор опрометчива в поведении моем с моими родственниками, сознаюсь в этом, но с нынешнего дня вы увидите, как умею я пользоваться добрым уроком.

– Не уроком, а...

– Нет, нет, это урок, и я принимаю его с признательностью. – Она подала мне или, скорее, подсунула свою руку по верхней перекладине перил, на которые мы оба облокотились, и я, не считая нужным таиться, поднял эту руку, чтобы поцеловать, уступая в этом естественному внушению признательности, но она поспешно отдернула свою руку, будто эта дружеская приветливость была скрытной вольностью с моей и с ее стороны, и, обращаясь к тетке, которая и не думала, равно как и дядя, наблюдать за нами, сказала, как бы в оправдание тому, что вдруг покраснела, что у нее закружилась голова, когда она смотрела в эту пропасть.

Эта уловка, которая показывала, что намерения ее возникли не прямо, а под влиянием постороннего побуждения, и бросала тень на мое как нельзя более простое чувство, мне немного не понравилась. Я молча отошел от платформы, надеясь ускользнуть от моих спутников и без них осмотреть пропасть, но оказалось, что путь в эту бездну зелени загорожен и ключ от входа хранится у особого сторожа, который дожидался уже нас у своего поста, но отказался пропустить меня одного.

– Я не могу этого сделать, – отвечал он мне, – место опасное, и я отвечаю за тех, кого провожаю сюда. Еще недавно три англичанина, вздумавшие осматривать это место без меня, покатались на самое дно пропасти. Я должен дожидаться ваших дам и не смею уйти отсюда с вами, а одних вас пустить опасно.

– Эй, любезный, – сказал он, увидя, что Тарталья пронес мимо нас вынутые им из нашего экипажа две бутылки вина, – не думает ли милорд высосать и эти две?

– Велика важность, – отвечал Тарталья, – это французское бордо, вино легкое; англичане пьют его как воду.

– Все равно, – возразил привратник бездны, – если милорд навеселе, *ubbriaco*, воля его, а я не пушу его сюда.

Я счел долгом не допустить лорда Б... до объяснений со сторожем. Я всегда знал его человеком воздержанным, но луч надежды восстановить прежние отношения с женой мог много изменить в его привычках. Итак, я возвратился к столу; вино было налито, хотя дамы уже встали и собирались на прогулку, а мой англичанин сделался по-прежнему холоден и серьезен. Супруги успели уже поссориться, а Медора, в свою очередь, успела позабыть роль ангела-примирителя и смеялась над печальной гримасой своего дяди.

– Пойдемте, – сказала она, подвязывая свой капюшон от плаща, – довольно поэзии на нынешний день. Солнце садится, время не ждет, а мы приехали сюда не за тем, чтобы пить за здоровье всех обитателей Олимпа.

– Вы знаете, что место это опасно, – сказала леди Гэрриет, обращаясь к своему мужу, – если пойдет дождь, тропинки сделаются скользкими и опасность удвоится. Пойдем, или оставайтесь здесь один, если хотите.

– Пожалуй, я остаюсь, – сказал он с видом смешного отчаяния. – Идите смотреть, как льется вода; для меня польется вино!

Это было решительное восстание.

– Так прощайте, – ответила леди Гэрриет презрительно, взяв под руку свою племянницу.

– Вальрег, выпейте за мое здоровье, я этого хочу! – крикнул милорд, удерживая меня за руку.

– А я не хочу, – отвечал я. – Бордо после кофе было бы для меня настоящей микстурой. К тому же я не понимаю, как можно оставлять без кавалеров в опасном месте дам, с которыми мы приехали.

– Вы верно говорите, – сказал лорд, оставляя свою рюмку. – Тарталья, поди сюда. Выпей это вино и выпей все, что осталось в коляске, я тебе это приказываю, и если ты не будешь мертвецки пьян, когда мы возвратимся, ты никогда не получишь от меня ни одного баеко.

Такая странная фантазия у человека, который всегда казался мне рассудительным, возбудила во мне подозрение. Я видел, что Тарталья также обратил внимание на замедлившуюся походку лорда. В его поступки было столько расслабленности, что, глядя на его ноги, нельзя было не опасаться за голову.

– Не беспокойтесь, – сказал мне догадливый и полезный Тарталья, – я ручаюсь вам за него!

И, не забывая вступить во владение подаренным ему вином, он подал знак хозяину гостиницы Сивиллы, чтобы его убрали, а сам пошел по пятам лорда Б..., не подавая и виду, что он за ним наблюдает. Хозяин понял, что Тарталья не выпьет, а сбует ему это вино, и с проницательностью, присущей итальянцам этого класса, отдал своей прислуге соответствующие приказания.

Успокоенный насчет моего приятеля, я поспешил вперед к дамам, которые в сопровождении проводника начали уже спускаться по тропинке. Медора, по своему обыкновению, шла впереди, подняв голову с видом презрения к опасности. Она цеплялась за каждый куст и рвала свое платье, не принимая ни малейшей предосторожности, чтобы этого не случилось. Она всегда и везде ходит как владычица мира, которой все должно повиноваться, и если бы ей вздумалось пройти сквозь каменную стену, я уверен, что она удивилась бы, почему стена не раздалась, чтобы пропустить ее.

Эти хватки королевы Маб тревожили меня не менее неверной походки не совсем трезвого лорда Б..., но я долгом счел подать руку не ей, а тетке.

– Нет, – сказала леди Гэрриет, – я осмотрительна, к тому же со мной проводник. Подайте руку Медоре, она слишком отважна.

Я ускорил шаги и заметил, признаюсь не без ужаса, что и у меня немного кружится голова. Во мне возникло безумное желание побежать к Медоре, схватить ее за руку и вместе с нею броситься в эти восхитительные бездны зелени и острых скал. Тропинка была очень удобна, ничто не оправдывало тревожных опасений проводника, и тогда я понял, что мое головокружение было следствием скорее нравственных, нежели физических причин и что, заботясь о том, как бы помешать лорду Б... слишком часто повторять его замысловатые тосты, я забыл обратить больше внимания на самого себя. Впрочем, я мало пил. Асти и бордо не могли произвести этого действия; но мне было жарко, и меня томила жажда. Может быть, это был «удар солнца», лучи которого падали на нас отвесно; может быть, у меня закружилась голова от рева и движения воды в каскаде, который находился прямо перед нашими глазами, от странностей Медоры, от сердечных излияний лорда Б..., но какая бы ни была причина, я чувствовал, что я опьянел и опьянел так, что готов был с невозмутимым хладнокровием сделать величайшую глупость. Я был пьян, говорю я вам, и чувствовал это, когда побежал к мисс Медоре. В несколько секунд, пока я достигал ее, мысль моя, вероятно, от сильного напряжения нервов, чудно просветлела. «Девушка эта, – думал я про себя, – прекрасна и богата. Она так опрометчиво играет в любовь, что игра эта может погубить ее, если ты бесчестен, и соединить ее с тобою, если ты тщеславен. Все это не беда, и тут не было бы опасности ни для нее, ни для тебя, если бы ты умел лучше владеть собой, знал, что говоришь, и понимал, что думаешь; но ты пьян, то есть ты сумасшедший, готовый броситься на борьбу с судьбой, готовый увлечься кра-

сотой; в тебе закипели радость, юность, поэзия перед этим величественным зрелищем, перед этими роскошными дарами твоей любимицы! Ты готов теперь высказать все, что на сердце, когда ты должен бы наблюдать за каждым своим взглядом, взвешивать каждое слово, которое произнесешь, чтобы не сделаться ни глупцом, ни злодеем, ни плутом, ни ветреником!»

Как все эти рассуждения сгруппировались в моей голове в продолжение двух или трех минут, право, не знаю, но они представились мне так ясно, так отчетливо, что я почувствовал необходимость сделать над собой усилие, чтобы отрезветь. Случалось ли вам видеть во сне, что вы видите сон? Случалось ли вам оторваться от неприятных образов томительной грезы единственно усилием вашей воли? Вот что именно происходило тогда со мной. Я не сумел бы передать вам теперь, сколько энергии и болезненных ощущений было в этой борьбе с винными парами; скажу только, что я остался победителем. Остановясь на крутом повороте тропинки и не видя Медоры за выдавшимся уступом, я только подумал: «Где она? Я ее более не вижу. Может быть, она упала в пропасть? Что ж, бог с ней! Тем лучше для нее. Лучше погибнуть, чем сделаться жертвой неуместного и минутного увлечения страсти с ее и с моей стороны».

Проговоря себе эту мудрую речь, я уже был снова в нормальном положении и чувствовал одну усталость, будто только что возвратился из дальней дороги. Я догнал Медору и подошел к ней спокойно; вместо упреков за ее неосторожность, которые я приготовил мысленно за минуту перед тем, сказал ей улыбаясь, что по поручению тетушки пришел охранять ее от опасности.

– Верю, что по ее поручению, вы не сделали бы этого по собственному побуждению.

– Вы угадали. Зачем пришел бы я докучать вам моим присутствием, когда эта дорожка так прекрасна и так удобна, что лучше нельзя желать в таком, как это, месте? Здесь можно бегать, как по паркету, и надобно быть до смешного неловким или бессмысленно самонадеянным, чтобы оступиться на этой тропинке.

После этого замечания она пошла медленнее.

– Так вы думали, что я хотела блеснуть перед вами моей отвагой, и прибегаете к приемам красноречия, чтобы сказать мне...

– Чтобы сказать вам что?

– Что мой поступок не будет иметь успеха. Это лишнее. Я очень хорошо знаю, что не могу предаться веселости, весьма, впрочем, естественной, не могу ни на минуту почувствовать себя ребенком и забыть, что вы тут как тут со своими намеками и что меня тотчас обвинят в желании рисоваться, принимать позу какой-нибудь Аталанты^[35] или Дианы Вернон. Согласитесь, что вы не совсем приятный спутник на прогулке и что сидеть под стеклянным колпаком на выставке, может быть, сноснее, чем находиться под вашим разоблачающим, неумолимым, недоброжелательным взором.

– Так как разговор наш дошел уже до нелюбезностей, то и я скажу вам, в свою очередь, что я точно желал бы быть здесь один, чтобы без стеснения и беззаботно наслаждаться этим прекрасным зрелищем, какого мне никогда не случалось видеть. Но как освободиться нам от этого tête-à-tête, устроившегося по приказанию? Согласны вы не разговаривать со мной всю дорогу до дна пропасти?

– Пожалуй. Не угодно ли вам пробраться вперед, чтобы тетушка, которой видно нас сверху, заметила, что вы исполняете порученную вам должность перил⁴

⁴ Здесь в тексте непереводаемый каламбур в слове перила: garde-fou. – *Примеч. пер.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Роман «Даниелла», написанный в 1857 г., относится к числу поздних произведений Жорж Санд. На русском языке печатался только однажды – в самом конце XIX столетия в издании братьев Пантелеевых (СПб., 1899). В советское время не входил ни в одно собрание сочинений и только в 1994 г. был переиздан в Краснодаре.

2.

Платон (427–347 до н. э.) – знаменитый греческий философ, ученик Сократа. Требовал полного слияния личности с государством, самой строгой регламентации всей жизни граждан, запрета частной собственности.

3.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед.

4.

Руссо Жан-Жак (1712–1778) – знаменитый французский писатель. Требовал возвращения к природе, простоте, в теории гражданского общества выдвинул принцип суверенитета народа, пытался реформировать воспитание, основывая его исключительно на развитии чувства. Его сочинения имели огромное влияние на политические события конца XVIII в. и на всю духовную жизнь последующих поколений.

5.

Скотт Вальтер (1771–1832) – английский писатель, поэт, создатель жанра исторического романа, сочетающего романтические и реалистические тенденции.

6.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) – английский поэт-романтик, пэр Англии.

7.

Лье – французская мера длины, равная 4,445 км.

8.

...о возобновлении тысяча семьсот девяносто третьего года. – Речь идет о периоде террора во время Великой французской революции.

9.

...два-три месяца в 1848 году... – В 1848 г. во Франции произошла так называемая Июльская революция, приведшая к окончательному падению монархии и установлению республики.

10.

Сарданапальский замысел. – Имеется в виду Сарданапал – последний полулегендарный ассирийский царь, отличавшийся любовью к роскоши и удовольствиям. После двухгодичной осады в своей столице Ниневии сжег себя во дворце с женами и сокровищами.

11.

Рейсдал Якоб ван (1628 или 1629–1682) – голландский живописец и график, крупнейший пейзажист Голландии XVII в.

12.

Кок Поль де (1794–1871) – французский писатель, романист. Его многочисленные романы дают бытовые картины из жизни среднего класса парижского населения. Он является, в сущности, последним представителем жизнерадостного романа XVIII в. Поль де Кок не интересуется внутренним миром действующих лиц, выводимые им характеры сводятся к нескольким клише.

13.

Мишле Жюль (1798–1874) – французский историк, профессор философии и истории древних языков. Автор многочисленных трудов по истории Франции. По словам современников, произведения Мишле являются «лирической эпопеей Франции».

14.

Ахерон – в греческой мифологии река в подземном царстве мертвых.

15.

Ван Дейк Антонис (1599–1641) – фламандский живописец, портретист. Около 1618–1620 гг. работал помощником Рубенса, во многом восприняв его сочную, полнокровную живописную манеру. В 1621–1627 гг. художник жил в Италии, где выработал и довел до совершенства тип парадного портрета, в котором главную роль играют поза, осанка, жест модели. С 1632 г. Ван Дейк работал в Лондоне как придворный художник короля Карла I, создав огромную галерею портретов короля, его семьи и английской знати.

16.

Веронезе Паоло (1528–1588) – итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения. Сложившаяся к середине 1550-х гг. художественная манера Веронезе воплотила лучшие черты венецианской школы живописи. Смелое введение Веронезе в свои произведения жизненных наблюдений, жанровых мотивов, портретов современников стало причиной для обвинения художника инквизицией в 1573 г. в излишне светской трактовке религиозных тем.

17.

Адриан Элий (76–138) – римский император с 117 г. Положил начало политики прекращения расширения Римской империи, провел многочисленные успешные реформы в стране, вел интенсивную строительную деятельность.

18.

Джотто ди Бондоне (1276–1336) – итальянский живописец, совершил переворот в итальянской живописи переходом от византийских типов к натуре, ввел натурализм в композиции, заменил золотой фон естественным пейзажем.

19.

...в период нашей империи... – Имеется в виду период правления Францией Наполеоном I 1804–1815 гг.

20.

Шатобриан Франсуа-Рене (1768–1848) – французский писатель, представитель романтизма. Будучи роялистом, принял участие в неудачной военной экспедиции против революционного правительства, после чего эмигрировал в Англию. Окончательно во Францию вернулся только

после свержения Наполеона. Длительное время занимался дипломатической деятельностью, в том числе был министром иностранных дел. В 1802 г. опубликовал трактат «Гении христианства», в котором прославлял культуру феодального Средневековья, изображал человека, подвергающегося религиозному перевоспитанию и укрощению. Художественным воплощением теоретических положений трактата стали его повести «Аттала, или Любовь двух дикарей» (1801), «Рене, или Следствие страстей» (1802), «Мученики» (1809).

21.

Романо Джулио (Джулио Пиппи, 1492–1546) – итальянский живописец, уроженец Рима, наиболее значительный из учеников Рафаэля, помогал своему учителю в его капитальных работах. Его самостоятельная деятельность началась лишь после смерти Рафаэля.

22.

...со времени расположения здесь наших войск... – Французские войска вошли в Папскую область в 1849 г. и, взяв штурмом Рим, восстановили в своих правах бежавшего ранее Римского Папу Пия IX. Покинули же они Рим в 1866 г.

23.

Каракалла (прозвище Марка Аврелия Севера Антонина) (186–217) – римский император с 211 г. В своей деятельности опирался на поддержку армии. В 212 г. издал эдикт о даровании римского гражданства всему населению Римской империи. Вел постоянные войны с целью расширения империи. Убит в результате заговора.

24.

Сенека Луций Анней (ок. 4 г. до н. э. – 65) – римский политический деятель, философ, писатель, представитель стоицизма, воспитатель Нерона, по приказу которого был вынужден покончить жизнь самоубийством. Его философское учение отличают презрение к смерти и проповедь свободы от страстей.

25.

...поле битвы Горациев... – Согласно легенде, вопрос о том, Рим или Альба-Лонга должен стать гегемоном в возникающем государстве, был решен в пользу Рима в битве трех юношей-близнецов Горациев и трех близнецов Курциев.

26.

Эвмениды – в греческой мифологии другое обозначение эриний, которые перестали считаться богинями мщения и стали богинями благодати, предотвращающими несчастье и дарующими плодородие.

27.

Пифия – жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.

28.

Купер Джеймс Фенимор (1789–1851) – американский писатель. Сочетал просветительские традиции с романтизмом. Создал цикл романов о героической и трагической колонизации Северной Америки (пенталогия о Кожаном Чулке: «Шпион», «Пионеры», «Последний из могикан», «Прерия», «Следопыт»), морские приключенческие романы («Лоцман», «Красный Корсар») и др.

29.

Гвельфы – политическая группировка в Италии в XII–XV вв., выступавшая на стороне папства против попыток германских императоров утвердить свое господство на Апеннинском полуострове; в основном выражала интересы торгово-ремесленных городских слоев.

30.

Гибеллины – политическая группировка в Италии в XII–XV вв., поддерживавшая германских императоров в их борьбе с папством за господство на Апеннинском полуострове; в основном выражала интересы феодалов.

31.

Ланды – название местности во Франции, песчаная полоса по берегу Бискайского залива, между р. Жирондой и Пиренеями, длиной около 230 км и шириной 90–150 км; покрыта заросшими камышом озерами, солончаками, среди которых лишь кое-где разбросаны маленькие оазисы со степной растительностью. По берегу тянутся дюны шириной 1,7 км и до 70 м высотой. С 1789 г. начато облесение ланд и к началу XX в. большая их часть превращена в лес.

32.

Тассо Торквато (1544–1595) – знаменитый итальянский поэт, представитель вновь окрепшего католицизма в итальянской литературе, автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580).

33.

Сивилла – женщина-пророк, ясновидящая, получившая от божества дар предсказаний; она делает их в состоянии экстаза, спонтанно, пророчества, как правило, грозят бедой. Наиболее известны сивиллы кумская и эритрейская.

34.

Пандора – в греческой мифологии первая женщина. Была послана к людям как «прекрасное зло». Попав на землю, она открыла данный ей богами сосуд («ящик Пандоры») и выпустила все заключенные в нем бедствия, кроме надежды, которая осталась на дне.

35.

Аталанта – персонаж греческой мифологии, знаменитая аркадская красавица, охотница.